
Ассоциация исследователей российского общества

Южно-Уральский государственный университет

Факультет права и финансов

Центр культурно-исторических исследований



ФАКУЛЬТЕТ ЮЖНО
ПРАВА УРАЛЬСКИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Международный совет издательских программ и научных проектов АИРО

Г.А. Бордюгов	главный редактор
А.Г. Макаров	генеральный директор
С.П. Щербина	арт-директор
К. Аймермахер	Рурский университет в Бохуме
Д. Байрау	Тюбингенский университет
В. Берелович	Высшая школа по социальным наукам, Париж
Б. Бонвеч	Рурский университет
Р. Бургер	INTAS, Брюссель
Х. Вада	Токийский университет
А.Ю. Ватлин	МГУ им. М.В. Ломоносова
Л.С. Гатагова	Институт российской истории РАН
П. Гобл	Фонд Потомак
Г. Горцка	Кассельский университет
А. Грациози	Университет Неаполя
Р.У. Дэвис	Бирмингемский университет
Е.Ю. Зубкова	Институт российской истории РАН
Ст. Коэн	Принстонский, Нью-йоркский университеты
А.Ч. Касаев	Журнал политической мысли России «Политический класс»
Дж. Д. Морисон	Лидский университет
В.Э. Молодяков	Университет Такусёку
И.В. Нарский	Южно-Уральский государственный университет
В.А. Невежин	Институт российской истории РАН
Н. Неймарк	Стэнфордский университет
Д. Рейли	Университет Северной Каролины на Чапел Хилл
Б.В. Соколов	Московский государственный социальный университет
Т.А. Филиппова	Российский исторический журнал «Родина»
Я. Хоулетт	Кембриджский университет
Ю. Шеррер	Высшая школа по социальным наукам, Париж

Представители АИРО-XX в Российской Федерации

В.М. Бухараев	Казань
А.В. Венков	Ростов-на-Дону
В.И. Голдин	Архангельск
В.А. Дробышев	Старый Оскол
В.А. Исаев	Новосибирск
В.В. Канищев	Тамбов
Н.А. Постников	Курск
Е.М. Раскатова	Иваново
В.П. Федюк	Ярославль
Т.А. Чумаченко	Челябинск

РОССИЯ И ВОЙНА В XX СТОЛЕТИИ

Взгляд из удаляющейся перспективы

*Материалы
международного интернет-семинара*

Составитель — Юлия Хмелевская
Предисловие — Игорь Нарский

Москва
2005

Издание осуществлено благодаря поддержке
Факультета права и финансов
Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)
и Maison des Sciences de L'Homme (Paris).

Дизайн и вёрстка: *Сергей Щербина*

Россия и война в XX столетии. Взгляд из удаляющейся перспективы. Материалы международного интернет-семинара. Сост. Ю. Хмелевская. Предисл. И. Нарский. — М.: АИРО, 2005. — 160 с.

ISBN 5-88735-144-6

В сборнике представлены доклады и комментарии по проблемам, которые совсем недавно выдвинулись в центр исследовательских интересов российских историков.

ISBN 5-88735-144-6

© ФПФ ЮУрГУ, 2005.
© АИРО, 2005.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Игорь НАРСКИЙ</i>	
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
<i>Штиг ФЁРСТЕР</i>	
ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ	
СТРУКТУР ЭПОХИ 1861–1945 гг.	11
Вопросы и комментарии участников дискуссии	29
<i>Оксана НАГОРНАЯ</i>	
ВОСПОМИНАНИЯ О ПЛЕНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И СРЕДСТВО ГРУППОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	46
Вопросы и комментарии участников дискуссии	63
<i>Игорь НАРСКИЙ</i>	
КОНСТРУИРОВАНИЕ МИФА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РАННЕЙ СОВЕТСКОЙ РОССИИ (на примере Урала в 1917–1922 гг.)	79
Вопросы и комментарии участников дискуссии	90
<i>Ольга НИКОНОВА</i>	
ВОЕННЫЙ ОПЫТ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА	102
Вопросы и комментарии участников дискуссии	116
<i>Кармен ШАЙДЕ</i>	
КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПАМЯТИ О «ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» (1941–1945 гг.)	119
Вопросы и комментарии участников дискуссии	142
Сведения об авторах докладов и участниках дискуссии	157

Игорь НАРСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая мировая война, или, в более привычной российской терминологии, Великая Отечественная поныне остается одним из важнейших событий в истории XX в. Несомненно, она наложила неизгладимый отпечаток на послевоенное политическое, экономическое и социальное развитие мирового сообщества, перекроила человеческие судьбы, отразилась на культурном облике современного человека. Неудивительно, что в преддверии очередной юбилейной даты повсеместно вновь усиливается интерес к её событиям и последствиям. Средства массовой информации всё интенсивнее насыщаются ток-шоу и кинодокументалистикой, публикациями и презентациями на военные темы. Снова оживают острые дискуссии о, казалось бы, давно минувшем прошлом, непосредственных очевидцев которого становится всё меньше. В этой связи появление этой публикации — факт вполне естественный и заурядный. Вполне возможно, она затеряется в неогромном информационном потоке. Поэтому представляется важным предварительно сориентировать читателя по поводу её специфики.

Предлагаемое читателю издание отмечено несколькими особенностями. Необычны и происхождение текстов, и жанр публикуемых материалов, и предлагаемые в них подходы к изучению войны в истории России XX в. Для публикации были отобраны материалы нескольких сессий международного интернет-семинара российских и швейцарских историков, посвящённые военной тематике.

Сам семинар, результаты работы которого здесь отчасти представлены, возник в 2003 г. как одна из форм институционального партнёрства университетов Челябинска и Базеля. С осени 2004 г. он действует на базе Центра культурно-исторических исследований факультета права и финансов Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) и Исторического государственного семинара Базельского университета. Принципы организации интернет-семинара близки процедуре коллоквиума или «круглого стола». В рамках отдельных сессий к обсуждению предлагаются научные доклады историков, которые в течение определённого времени обсуждаются участниками семинара в Челябинске и Базеле. Работа семинара открыта для

всех желающих — как на уровне презентации докладов, так и в процессе их обсуждения (1). В нём приняли участие студенты, аспиранты, докторанты, доценты и профессора Челябинска и Базеля, а также Тюбингена и Москвы.

Форма организации виртуального семинара определила жанр публикуемых материалов. Они представляют собой оригинальные, не публиковавшиеся ранее на русском языке версии полноформатных докладов, специально подготовленные для обсуждения в режиме интернет-форума (2). Доклады сопровождаются вопросами, репликами, замечаниями и комментариями как постоянных участников семинара, так и заинтересованных гостей сайта. Споры вокруг отдельных текстов позволят читателю почувствовать живую атмосферу конструктивной критики, временами — весьма острой, познакомиться с разнообразием мнений по обсуждаемым проблемам, а также с особенностями культуры ведения полемики в российском и западном академических сообществах.

Наконец, специфичны и в целом непривычны для российской историографии предлагаемые авторами докладов подходы к рассмотрению войны. Они опираются на получающие в западном историописании все большее распространение новое видение войны и методы её осмысления. Чтобы понять их специфику, стоит отметить, что в современной России по-прежнему количественно лидирует политическая история войны — описание военных событий и государственных решений, военно-стратегических успехов и деятельности полководцев. Преобладающими в российской научной литературе остаются рассмотрение войны вне длительного временно́го контекста, патетический тон её описания, героизация, интерес к выдающимся личностям. Помимо собственно научных причин, обусловивших ведущие позиции такого подхода в отечественной историографии, необходимо учитывать и венаучную, общественно-политическую конъюнктуру, оказывающую воздействие на работу историка. В отличие от западных обществ, Вторая мировая война для россиян остается ключевым событием прошлого, последним из тех, которые ещё способны объединять общество и придавать смысл настоящему после распада СССР и демифологизации Октябрьской революции. Кроме того, по-прежнему остаются принципиально нерешёнными или недостаточно осмысленными обществом такие крупные проблемы военного прошлого как, например, роль в войне И.В. Сталина, массовое уничтожение евреев, противоречивая политика военных лет по отношению к национальным меньшинствам, обращение с бывшими советскими военнопленными в СССР, коллаборационизм. Это отчасти может служить объяснением и повышен-

ной эмоциональности в описании войны, и предпочтения её панорамных событийных изображений в российской историографии, испытывающей ошутимое давление со стороны ангажированного государства и жизнестойких общественных стереотипов в отношении военного прошлого.

Обществам Центральной и Западной Европы, в том числе Германии, удалось гораздо более решительно и последовательно взглянуть на своё военное прошлое. Политические акценты расставлены и не встречают принципиальных возражений, вопросы о цене войны, вине и ответственности за собственное прошлое решены ясно и недвусмысленно. Пронизанные пафосом метафоры уступили место четким и сухим политическим и правовым оценкам. Это обеспечивает западным историкам относительную свободу творчества, обуславливает более спокойный и деловой тон анализа и обсуждения проблем войны, позволяя в то же время обратиться к таким тонким и трудноуловимым аспектам военного прошлого как восприятие и опыт войны, военная повседневность, модели поведения на войне и после неё, память о войне, формирование, конкуренция и утилизация образов войны и многое другое. Сама же Вторая мировая война видится не как отдельное и самодостаточное событие, а как органичная часть и апогей более протяженной эпохи мировых войн и революций 1914–1945 гг.

Именно такой подход к изучению военной проблематики объединяет доклады, собранные в этом издании. Материалы семинара открываются докладом бернского профессора Ш. Ферстера о происхождении и особенностях тотальной войны. В рамках завершающего этапа утверждения техногенного общества и современного государства (1864–1945) автор прослеживает становление основных содержательных компонентов тотальной войны. Примечательно, что в заключительном слове докладчик подчеркнул ключевое значение российской истории для плодотворного продолжения разработки предложенной им проблематики. Последующие доклады посвящены проблемам формирования и функционирования исторической памяти о войне. В докладе доцента Южно-Уральского университета О.С. Нагорной на основе мемуаров бывших русских военнопленных-участников Первой мировой войны анализируется процесс конструирования воспоминаний о немецком плене в последние годы существования Российской империи, при Временном правительстве и в первое десятилетие советской власти (до конца 20-х гг.), а также мотивы и технологии манипулирования этими воспоминаниями со стороны сменявших друг друга режимов. Доклад профессора Южно-Уральского университета И.В. Нарского продолжает тему социальной памяти о войне на примере формирования мифа о Гражданской

войне на протяжении первого пятилетия советской власти. Автор исследует особенности формирования специфических групповых интерпретационных версий революции и Гражданской войны, а также роль политических режимов и населения в процессе складывания мифа и его использования в качестве стратегии коллективного забывания. Доцент Южно-Уральского университета О. Ю. Никонova предложила собственную версию генезиса советского патриотизма в 30-е — 40-е гг. как альтернативы национализму. Показательно, что в рождении, динамике развития и структуре советского патриотизма важную роль автор отводит военному фактору — опыту войн, породивших советский режим; внутренним «классовым» войнам 30-х гг.; атмосфере ожидания неизбежной и судьбоносной будущей войны; наконец, Великой Отечественной войне, которая стала фактором единения общества и кульминационным моментом в становлении советского патриотизма. Завершает избранные материалы интернет-семинара доклад доцента Базельского университета К. Шайде. На примере дневниковых записей военной поры и воспоминаний, написанных в послевоенное 50-летие, исследователь реконструирует механизмы формирования в СССР образов Великой Отечественной войны, альтернативных официальным мемориальным клише. Заслуживает внимания тезис автора об относительно большом просторе для индивидуальных моделей памяти в брежневскую эпоху, несмотря на попытки советского режима контролировать образы прошлого.

Ряд высказанных авторами положений вызвал энергичные возражения, которые отражены в дискуссиях вокруг докладов. Не претендуя на обладание монополией на «истину», каждый из авторов оценивает свои исследования как одну из возможных точек зрения на военное прошлое. Признание правомерности иных позиций явствует из реакции докладчиков на критические размышления виртуальной аудитории. Принципиально важной и достойной последовательной защиты представляется лишь одна позиция: анализ стремительно уходящего прошлого должен быть спокойным, вдумчивым и нацеливаться не на утомительный и в конечном счете бесплодный поиск героев и злодеев, а на более ответственное и критичное отношение к настоящему и к самим себе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подробнее об организации работы интернет-семинара см.: <http://www.isem.da.ru> или <http://isem.susu.ac.ru>.

2. Исключением из правила является доклад К. Шайде, написанный для публикации в журнале *Ab Imperio*, 2004. №3. С.211–236.

Шмиг ФЁРСТЕР

ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
К ИСТОРИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
СТРУКТУР ЭПОХИ 1861–1945 гг.

Эпоха тотальной войны, кажется, миновала. Однако так называемый новый мировой порядок ушедшего XX века, в котором осталась уже только одна сверхдержава, не привел к всеобъемлющей стабильности и вечному миру. История не подошла к концу (1). Войны возникают все также непрерывно. Между тем, кажется, что насильственные межгосударственные противостояния должны принять другой характер, и все меньше на них должен накладываться отпечаток тотальный характер ведения войны, доминировавший в XX в. Например, во время последней войны в Югославии представители НАТО неоднократно публично извинялись за «побочный ущерб», от которого случайно пострадали сербские мирные жители. Уничтожение одного единственного автобуса в ходе бомбардировок НАТО спровоцировало международный протест и поставило руководителей западных государств в затруднительное положение. Напротив, представители НАТО с гордостью представляли осмотрительность одного из своих пилотов, который намеренно пропустил цель, обнаружив во время налета, что она находится слишком близко к церкви. 55 лет назад политические и военные руководители нашли бы подобное поведение, по меньшей мере, странным. Вполне вероятно, что в те времена они испытали бы неловкость, если бы при воздушной атаке был уничтожен только один единственный автобус. Уничтожение мирных жителей было тогда не только широко распространенным явлением, но и существенной частью военной стратегии — стратегии тотальной войны.

Сегодня войны ведутся скорее ограниченными, пусть даже высокотехническими, средствами за достижения ограниченными целей. В крайнем случае, призыв к безоговорочной капитуляции провозглашается теми людьми, которые могут представить себе последствия. Большие армии, сформированные на основе всеобщей воинской

повинности, применяются только относительно неразвитыми державами и приводят к негативным результатам. Современные же способы ведения войны нацелены на сведение собственных потерь к нулю. Отсюда будущее за хорошо обученными и великолепно вооружёнными профессиональными солдатами. Политические причины требуют возможности предотвращения «побочного ущерба», и тем самым снова достигается традиционное разделение на солдат и мирных жителей (2).

Достигла ли война тем самым «нормального состояния»? Возможно ли, что в рамках и без того уже фатального соотношения войны и человеческой истории тотальная война представляет собой только аномалию? Возможно ли, чтобы тотальная война могла возникнуть только в особых условиях XIX в. и в XX столетии достигнуть пика своего развития, чтобы в конце этой ужасной эпохи снова исчезнуть? Ответы на эти вопросы оказываются какими угодно, только не успокаивающими. Ещё относительно недавно Джон Киган вновь привёл старые аргументы, согласно которым древние человеческие общества вели только ограниченные войны и избегали масштабных разрушений. Следовательно, ограниченная война должна расцениваться как естественная форма вооружённого проведения конфликта между группами людей, в то время как радикализация ведения войны стала возможной только благодаря возникновению более мощных государств с хорошо вооружёнными армиями (3).

Палеоантрополог Лоуренс Кили, напротив, рисует совсем иную картину. Он приходит к заключению, что человек и в доисторическое время часто вёл войны радикальными средствами. При этом, чтобы соответственно поработить или полностью уничтожить враждебную группу, мобилизовывались все боеспособные мужчины, а иногда и женщины. Исходя из этого, тотальная война — скорее правило, чем исключение. К ограниченному ведению войны перешли только тогда, когда государства стали не в состоянии выносить нагрузки и существовать в условиях разделения труда, связанных с тотальной войной (4).

Если Кили прав, то тотальная война ни в коем случае не представляет аномалию. Развертывание войны могло быть предотвращено только в том случае, если государства и общества держали свои военные устремления под контролем и вели войну ограниченными средствами за ограниченные цели. Поэтому вполне вероятно, что особые исторические обстоятельства могли способствовать разрушению этих контрольных механизмов в XIX и XX вв. и таким образом сделали возможной войну тотальную. Таким образом, война приняла свой первоначальный облик, теперь уже на уровне высоко-

развитых обществ. Здесь, разумеется, возникает существенный вопрос: какие факторы в современный период привели к этой разрушительной тотализации военных действий? В общих словах ответ заключается в следующем:

С конца XVIII в. войны в возрастающей степени становились общенациональным делом. На военном и политическом уровне это способствовало возникновению идеи о мобилизации всех без исключения граждан на обширную войну.

Для воплощения подобного рода идей на практике требовались достижения индустриализации, разворачивавшейся с середины XIX в.

Однако даже в этом случае обширная мобилизация не стояла на повестке дня до тех пор, пока речь шла только о достижении ограниченных целей войны. Наблюдаемая тотализация целей войны стала результатом изменения образа врага в сознании граждан и их правительств. Исходящая от врага угроза стала представляться обществом и государством как основополагающая экзистенциальная опасность. Поэтому враг должен был быть навсегда уничтожен.

В ходе последовавших затем многолетних ожесточённых войн, основанных на массовой мобилизации, люди привыкали к массовым убийствам. Благодаря этому опыту снизился порог скрупулёзного отбора всех средств, используемых для достижения победы.

Можно также привести и другие причины, которые, однако, требуют более глубоко изучения.

Возможно, эпоха тотальной войны в её известной нам форме действительно закончилась. Однако, даже если это так, мы должны и далее изучать её внешние проявления и причины. Может быть, историческое исследование поможет предотвратить новые проявления этого ужасного феномена, который в двух мировых войнах стоил более чем 60 млн. человеческих жизней.

СЕРИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ ОБ ЭПОХЕ ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Понятие «тотальная война», возникшее из опыта Первой мировой войны, в 20 и 30-е гг. XX в., стало лозунгом и играло важную роль в многочисленных размышлениях по вопросу будущей войны (5). Однако ни современникам, ни последующим поколениям историков не удалось дать его сколько-нибудь общепринятую дефиницию. В этой связи одной из важнейших задач серии конференций стало выяснение исторического смысла тотальной войны. Три уже состоявшихся

конференции показали, что это предприятие достаточно рискованное (6). Учёным оказалось тяжело достичь консенсуса по вопросам: какие компоненты составляют тотальную войну, где этот феномен появляется, какие войны можно обозначить как «тотальные» и имела ли вообще место тотальная война в полном смысле этого слова.

Поскольку организаторы пригласили к участию не только военных историков, но и учёных из других областей науки, эти дебаты стали сложнее, но и интереснее. В конечном счёте, понятие «тотальная война» означает, что этот феномен не ограничивается военными кампаниями и политическими решениями, но охватывает общество в целом, а также его экономику и финансовую систему. Как удачно определил Роджер Чикеринг: «Тотальная война требует тотальной истории» (7). Иными словами: феномен тотальной войны должен быть исследован во всех своих исторических измерениях: военном, политическом, социальном, экономическом, культурном и других областях (даже в медицине). Однако это не облегчает задачи.

При планировании серии конференций мы изначально исходили из представления о том, что исходными пунктами тотальной войны Нового времени были Американская и Французская революции. Чтобы превзойти постоянные армии «старого порядка», революционеры изобрели «народную войну» и тем самым породили процесс, который имел чрезвычайные последствия. С появлением солдат-граждан у гражданского общества появился прямой интерес к войне. Народная война была возможна только при широкой поддержке общественности. Отсюда проистекала тенденция в определённый момент приобщать к военным действиям всё общество и всю нацию. В таких обстоятельствах военному и политическому руководству угрожала потеря контроля над инструментом войны. Монополия правительств на принятие решений и монополия регулярных армий на военное насилие оказалась в опасности, для нейтрализации которой они прибегали к воинской повинности, политической пропаганде и введению жесткого государственного контроля над военными действиями, обществом и экономикой. Тем не менее, наполеоновские войны ни разу не достигли «тотального» измерения. Средства ведения тотальной войны появились только благодаря индустриализации: тогда появилась возможность формировать огромные добровольческие и сформированные на основе воинской повинности армии, перевозить их на фронт, обеспечивать оружием, обмундированием и продовольствием. К тому же, разумеется, это требовало значительных административных усилий. Тыл превратился в опору действующей армии. Гражданские лица должны были не только заботиться об обеспечении солдат, но и поддерживать их морально и политически, так как

от этого зависел исход войны. Активная поддержка дела нации могла зайти так далеко, что в военные действия в прифронтовых областях втягивались и гражданские лица. Как опора военных усилий противника они превратились в мишень военных мероприятий. Линия, разделяющая гражданское общество и армию, постепенно исчезала. В виду чрезвычайных усилий, которых потребовала народная война, вести военный конфликт за ограниченные цели становилось всё тяжелее. Чтобы мобилизовать общественность, перспектива должна была состоять в решающей победе, и дело, за которое государство вступало в войну, должно было акцептироваться значительным большинством народа. Это также привело к превращению ограниченной войны в войну неограниченную. Всё вышесказанное во второй половине XIX в. способствовало развитию тенденций тотальной войны (8).

В связи с этим, возникла идея о серии конференций, начавшейся в 1992 г. со сравнения Гражданской войны в США и германских войн за объединение. Они представляют собой первые крупные конфликты, на материале которых можно рассмотреть соответствующие тенденции. Мнения по этому поводу в значительной степени разошлись. Прежде всего, основательная дискуссия состоялась по вопросу Гражданской войны в США. Марк Нили (9) не согласился с мнением Джеймса Макферсона, что тотальная война ведёт свою историю с Гражданской войны, точнее с 1862 г. (10). Также никто не захотел связывать войны, предшествовавшие объединению Германской империи, с понятием «тотальные». Правда, некоторые участники высказывали мнение, что уже во Франко-прусскую войну проявились тревожные тенденции в этом направлении (11).

Тотальная война включает различные компоненты, среди которых, прежде всего, двойное участие гражданских лиц — как активно действующих субъектов и как жертв, что проявляется в участии в военных действиях гражданских лиц и в ведении таковых против них. Этот взгляд стал исходным пунктом проекта нашей следующей конференции, которая должна была охватывать опыт, накопленный до 1914 г. двумя развитыми обществами того времени — американским и немецким. Результат был поразителен. Хотя, например, в колониальных войнах можно обнаружить элементы тотального ведения войны, в конце концов среди участников воцарилось единодушие, что никто из современников не имел представления о тотальной войне и поэтому никто не ожидал, что следующий крупный военный конфликт может стать тотальным.. Правда, было высказано мнение, что в Германии военные круги и часть гражданских лиц предвидели войну длительную и опустошительную. Но, даже учитывая это, под-

готовка к тотальной войне не состоялась (12). Таким образом, путь к тотальной войне не был прямой улицей с односторонним движением. Не говоря уже о том, что всегда были альтернативы, а государство и общество до 1914 г. были не в состоянии и не созрели для подготовки к тотальной войне.

Итак, лето 1914 г. представляется настоящим рубежом. Только в количественном измерении начавшаяся тогда война превратилась в крупнейшую из тех, что мир когда-либо видел. Поэтому третья конференция была полностью посвящена этой войне, разумеется, без претензий на изучение всех её аспектов. Так заманчиво было бы исследовать связь между тотальной войной и геноцидом (армян в Османской империи) или между тотальной войной и революцией (в России), поэтому спектр тем должен был быть ограничен. Исходя из этого, конференция сконцентрировала внимание на основных державах на Западном фронте. Уже этот комплекс оказался достаточно обширным.

Было интересно увидеть, что первоначально многие политические и военные руководители, несмотря на ужасную бойню на фронте, определяли этот конфликт как войну обычную. Стало ясно, что переломный момент наступил в 1916 г. После того как в ужасных битвах этого года командующие не смогли переломить патовую ситуацию, стали обдумываться новые возможности ведения военных действий. Результатом стала не только неограниченная подводная война и широкое использование новых видов оружия, но и серьёзная попытка полностью мобилизовать экономику и общество. Так называемая Программа Гинденбурга, мобилизационная политика Ллойд Джорджа и введение всеобщей воинской повинности в Великобритании придали войне новый оборот. Кроме того, в эти месяцы стало понятно, что все участвующие в конфликте государства были готовы бороться до самого конца. Компромиссный мир был уже невозможен.

Но была ли это тотальная война? Современники, например, Эрих Людендорф и Эрнст Юнгер отнюдь не были в этом убеждены. После войны они часто сожалели, что слабые политические структуры Германской империи показали неспособность к полной мобилизации. Немецкое общество оказалось не в состоянии полностью и длительно концентрироваться на тотальных военных усилиях. Сходные результаты показали доклады конференции, основанные на материалах Франции, Великобритании и США. При исследовании такого важного аспекта как ведение войны против мирных жителей также возникла достаточно противоречивая картина. Без сомнений, британская морская блокада была нацелена главным образом против германского гражданского населения. Немцы отплатили британцам

безоглядным использованием подводных лодок с целью контрблокады. Всё же, благодаря устоявшимся фронтам, бо́льшая часть населения избежала прямого воздействия войны. Тем не менее, были и первые попытки бомбардировать гражданские цели. Кроме того, нельзя в этой связи забывать, как жестоко немецкие солдаты обращались с бельгийским мирным населением в начале войны и позднее, при угоне гражданских рабочих. Рассмотрение всей совокупности — и это относится также к другим аспектам — позволяет говорить о складывании явных тенденций перехода к тотальной войне, которые все же не достигли полного размаха.

По-другому не могло быть. С разворачиванием время наших дебатов становилось всё яснее, что любые попытки классифицировать Первую мировую как тотальную войну не учитывают основополагающего парадокса. Конечно, такие деятели, как Людендорф делали ставку на полную мобилизацию для тотальных военных усилий и одновременно пытались установить полный контроль над этим. Однако им не удалось достичь хотя бы одной из своих целей, вместо этого они только способствовали хаосу. Эти противоречия позволяют, самое большее, говорить о тотальной войне только как об идеальном типе. Политики и военное командование всеми усилиями могли стремиться к осуществлению идеального типа, но они никогда не достигали своей цели. Помимо всего прочего потому, что ни одно современное государство не в состоянии поставить тотальную мобилизацию под тотальный контроль. Без определённой степени добровольного участия это неосуществимо. Как только поддержка общества ослабевает, полная мобилизация становится невозможной. Каждая попытка внедрить тотальный контроль подрывает воодушевление общественности и может привести к краху. По меньшей мере, таков был урок Первой мировой войны.

ЗНАЧЕНИЕ ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Роджер Чикеринг напомнил о том, как ошибочно было бы представлять историю тотальной войны в качестве неизбежного развития (13). Вести прямую линию от армий Французской революции к Дрездену и Хиросиме было бы не только слишком просто, но и неправильно. Историческое развитие всегда противоречиво и часто зависит от случайных событий. Было бы излишней рационализацией

представлять его как некую неизбежность и тем самым придавать ему телеологический смысл. История тотальной войны, без сомнения, полна поразительных поворотов и противоречий, например, в глаза бросается факт, что европейские державы во Второй мировой войне избегали применять против друг друга химическое оружие. Кроме того, в период 1792–1945 гг. были периоды, в которых и речи не шло о возможности тотальной войны. С 1815 по 1866 гг. великие державы пытались либо предотвратить любую войну, либо, если таковая уже случилась, по возможности её ограничить (14). Также и в период с 1871 по 1914 гг. подобие тотальной войны было немыслимо. Историческое развитие было всегда открыто для альтернатив, и вполне могло случиться, что в XX веке тотальной войны никогда бы не произошло (15).

Исходя из этого, нужно всегда иметь в виду, что само представление о «тотальной войне» стало развиваться только в 20–30-е гг. XX в. Соответственно, применение этого понятия к предыдущим десятилетиям проблематично. Ни Линкольн, ни Бисмарк или Мольтке об этом и не слышали, как не слышал и Людендорф до 1918 г. Нужно иметь в виду, что аргументы, исходящие из сегодняшних воззрений, неприменимы в исторической ретроспективе, но это, разумеется, не должно нас удерживать от употребления полезного концепта применительно к прошлому. Ответить на вопрос, почему современные конфликты, несмотря на все имевшиеся в наличии альтернативы, в конце концов развились в тотальную войну, можно только путем сравнительного анализа. Первые три конференции показали, что этот подход весьма продуктивен.

Поскольку однозначного определения тотальной войны все ещё не существует, мы должны для начала довольствоваться определением главных составляющих частей этого концепта.

Тотальные цели войны. В течение столетий межгосударственные войны велись главным образом во имя ограниченных целей. По крайней мере, в Европе с периода средних веков речь шла в основном о захвате провинции или достижении экономического преимущества. До полного подчинения государства-противника или до полного уничтожения его населения дело доходило крайне редко. Если такое случалось, то это происходило только на окраинах Европы (испанская Реконкиста или османская экспансия на Балканах). Чтобы наконец обрести мир, побежденной державе достаточно было принять ограниченные требования победителя. Окончание войны почти всегда сопровождалось переговорами. Можно сказать, что в значительной степени это характерно и для наполеоновских войн. Если Наполеон Бонапарт со своими войсками и воевал против дру-

гой великой державы, он никогда не преследовал цель полного уничтожения врага. Ограниченными были и цели Крымской войны.

В период Гражданской войны в США развитие событий приняло другое направление. Представители конфедерации боролись за ограниченные цели, т. к. они хотели достичь независимости. «Всё, о чём мы просим, чтобы нас оставили в покое» — провозгласил от их имени президент Джефферсон Дэвис (16). Но другая сторона в лице Авраама Линкольна в виду возрастающей длительности войны формулировала цели Союза более радикально: «...характер войны изменится... Это будет покорение... Югу суждено быть разрушенным и замененным новыми суждениями и идеями» (17). Несмотря на то, что сам Линкольн при определённых обстоятельствах был готов договариваться о частностях, всё же общим лозунгом военных усилий северных штатов стало понятие «безусловная капитуляция». Сходную тенденцию можно установить и во Франко-прусской войне. После того, как объявленная Леоном Гамбеттой «guerre a outrance» (война без границ) стала грозить немецким армиям значительными трудностями, Гельмут фон Мольтке потребовал полной оккупации и покорения вражеской страны. Испуганный кронпринц определил это как войну на порабощение, а Бисмарк отказался ему содействовать (18). В обоих случаях проявилась тенденция к тотальной войне, даже если тогда дело не дошло до полного покорения противника. Эта радикализация целей стала одним из признаков тотальной войны.

Во время Первой мировой войны немецкие и французские цели войны подразумевали ликвидацию статуса противника как великой державы и даже раздробление государства-противника, т. к. каждая сторона определяла другую как основополагающую опасность для собственного существования. Брест-Литовский мирный договор и поведение французского руководства в конце войны показали, что при формулировании целей войны речь шла не только о риторических декларациях. В атмосфере Версаля носилось требование безоговорочной капитуляции, а немецкая делегация даже не была приглашена к столу переговоров. До закрепления тотальных целей войны в мирном договоре дело не дошло только благодаря успокаивающему влиянию англосаксонских держав.

В период Второй мировой войны тотальные цели войны играли ещё более значимую роль. Самой радикальной из них был немецкий план уничтожения Советского Союза и порабощения и убийства населения захваченных областей («Генеральный план Ост»). С другой стороны, на конференции в Касабланке Черчилль и Рузвельт согласились, что целью их военных усилий должна стать капитуляция

противника. Тем самым они также сделали ставку на политику тотальной войны, хотя и без геноцида.

В период 1861 по 1945 гг. развитие способов ведения войны несло на себе сильный отпечаток движения к тотальным целям. Конечно, в каждом отдельном случае для формулировки соответствующих целей войны были свои причины. Что скрывается за общей тенденцией к тотальным целям войны, покажут дальнейшие исследования. Насколько мы можем утверждать сегодня, основные причины нужно искать в изменении взглядов ведущих войну сторон. Политические и военные руководители, как и значительная часть втянутых в конфликт народов в определённый момент начинали воспринимать противника как экзистенциальную угрозу и поэтому со своей стороны стремились доказать своё право на существование. Переговоры становились невозможными, и тогда война велась против враждебной политической системы или против целых народов. Место традиционных ограниченных целей занимало требование безоговорочной капитуляции или, в исключительных случаях, геноцида. Отчасти это стало следствием чрезвычайных усилий и огромных жертв, которых требовало от нации ведение войны в эпоху массовой мобилизации и индустриализации. Ограниченные цели перестали соответствовать нагрузкам. Из-за того, что обе стороны преследовали тотальные цели, дело шло к взаимной радикализации. Это, без сомнения, относится ко Второй мировой войне. В условиях зимы 1942/43 гг. Черчилль и Рузвельт вряд ли могли бы довольствоваться чем-то меньшим, чем безоговорочная капитуляция.

Тотальные методы войны. Было бы наивно предполагать, что в прежние времена войны имели более человечный и более рыцарский характер. То, что это не так, отчётливо демонстрирует содержание Гаагской и Женевской конвенций, которые должны были пресечь худшие перегибы (19). Однако, обе мировые войны XX столетия показали, что эти конвенции в большей или меньшей степени нарушались воюющими государствами. Немецкое командование однозначно преступило международное право ведением неограниченной подводной войны. Это право было также нарушено применением химического и биологического оружия (японской стороной во время Второй мировой войны), ковровых бомбардировок и тактики «выжженной земли». Этот ряд можно продолжить. Один из самых худших примеров — судьба военнопленных. В период Первой мировой войны, несмотря на частые злоупотребления, в обращении с военнопленными принятые международные правила в целом соблюдались. Правда, Нил Фергюссон недавно доказал, что военнопленных нередко убивали прямо за линией фронта (20). Во время Второй мировой войны,

как известно, с миллионами военнопленных обращались ещё более бесчеловечно. Немецкие инстанции уничтожили значительное количество советских военнопленных, и в этом состязались с ними их японские союзники.

Другой важный аспект радикализации методов — война против действительных или мнимых партизан. Это началось при кровавом продвижении немецких солдат в 1914 г. в Бельгию и достигло своего пика в борьбе вермахта и СС «против партизан» в оккупированных советских областях. Борьба против партизан в начальный период Холокоста часто использовалась как предлог для уничтожения евреев. Можно дискутировать о том, было ли уничтожение европейских евреев в значительной степени связано с радикализацией методов ведения войны. По крайней мере, кажется, нацистское руководство рассматривало развитие именно в этом смысле. Но так или иначе, люди в ситуации военной резни, по всей видимости, привыкли к массовым убийствам.

В значительной степени эту радикализацию можно уловить уже в ходе Гражданской войны в США и Франко-прусской войны, несмотря на то, что тогда она проявилась в меньшей степени, чем в более поздних конфликтах. До бомбардировок было ещё далеко, однако артобстрелы таких городов как Виксбург, Страсбург и Париж уже случились. Марш Шермана через южные штаты и уничтожение Шериданом Шенандоа в ретроспективе выглядят именно как бомбардировки с земли, хотя жизнь большей части гражданского населения была сохранена. Радикализация методов ведения войны бросает свою тень также на борьбу против партизан в южных штатах и против «*franc tireurs*» (сопротивленцев) во Франции. Несмотря на это, было бы преувеличением на основе применявшихся методов обозначать эти кампании как тотальные войны. В ходе Гражданской войны в США военнопленные часто подвергались жестокому обращению. Однако массовая смертность в лагере военнопленных в Андерсонвилле была в большей степени печальным следствием небрежности и некомпетентности, чем результатом злых намерений (21). Случаи же убийства военнопленных прямо за линией фронта происходили, если в руки конфедератов попадали чёрные солдаты. Во Франко-прусской войне подобное случалось крайне редко. В целом военнопленные здесь содержались лучше, чем в Америке (22).

В большинстве случаев радикализация методов ведения войны прямо или косвенно совпадает с тотализацией целей войны. Например, опустошительные походы Шермана и Шеридана в период Гражданской войны в США совпадают с распространением идеи о безоговорочной капитуляции, так как способ продвижения войск был

направлен против населения противника в целом. Сходным образом и в 1914 г. жестокое наступление немецких армий в Бельгии было нацелено на подавление воли к сопротивлению со стороны вражеского населения (23). Ещё более отчетливо это относится к бомбардировкам союзников в период Второй мировой войны, так как эта стратегия должна была привести к безоговорочной капитуляции. Содержание же советских военнопленных однозначно было частью национал-социалистической политики геноцида против «славян».

Сложнее обстоит дело с другими случаями, например при использовании ядовитых газов или подводной войны (24). Оба случая связаны с развитием новых технических средств. В период с 1861 по 1945 гг. разрушительная сила оружия чрезвычайно возросла — от нарезной винтовки до атомной бомбы. Но результаты этого развития были воистину амбивалентны. Более развитые технические средства совсем не обязательно должны были привести к тотальной войне. Возможно, оружие с большей разрушительной силой могло быть использовано с целью сокращения длительности войны и предотвращения войны тотальной. Классический случай — настойчивый обстрел Бисмарком Парижа, с помощью которого он надеялся достичь стремительного окончания войны до того, как военные действия полностью выйдут из-под контроля (25). Однако, без сомнения, благодаря радикализации ведения войны и тотализации целей войны порог применения всех доступных средств против врага был снижен.

Другой важный аспект — создание массовых армий. В Гражданской войне в США и во Франко-прусской войне воюющие стороны посылали тысячи мужчин на поля битв. В обеих мировых войнах были задействованы миллионы солдат. Только после появления индустриальных средств появилась возможность транспортировать, вооружать и обеспечивать эти людские массы. Для того, чтобы удерживать эти армии под контролем и усиливать их боевую мораль, требовались значительные организационные усилия. Существование огромных армий значительно осложнило победу над врагом в решающем сражении. Кроме того, миллионные армии включали в себя не только значительную часть населения, но и имели за спиной почти целую нацию, в том числе и потому, что минимум один из членов каждой семьи оказывался на поле битвы. В этих обстоятельствах преодоление сопротивления целого народа требовало действительно чрезвычайных мероприятий. Таким образом, можно утверждать, что массовое участие значительно способствовало радикализации методов войны.

Несмотря на все вышесказанное, остаются сомнения, была ли в действительности хоть одна тотальная война. Так далеко могла бы

зайти только неограниченная атомная война. До 1945 г. ведение войны было, по меньшей мере, частично ограниченным. Даже национал-социалисты испугались масштабного использования химических и биологических средств борьбы. Но без сомнения, эпоха тотальной войны способствовала растущей радикализации ведения войны.

Тотальная мобилизация. Тотальная мобилизация во время войны не является чем-то новым в истории человечества. Это практиковалось, кажется, уже в каменном веке и в эпоху переселения народов — по крайней мере, при вторжении германских племен на римскую территорию. Все же, чем сложнее и диверсифицированнее становилось базирующееся на разделении труда общество, тем сложнее становилось в случае войны мобилизовать значительный процент населения.

В развитых обществах вопрос мобилизации, как правило, зависел уже от пола. Только изредка, как, например, в королевстве Дагомея, дело доходило до массового рекрутирования на войну женщин. Обычно это были молодые мужчины, которые несли основную тяжесть военных действий под командованием более старших мужчин. Часто в солдат превращали детей, как, например, в Тридцатилетнюю войну (26). Но в каждом случае комплексные общества, как правило, проводили четкую линию, разделяющую вооружённые силы и мирное население. В XVIII в. это было характерно для Европы и для значительной части Азии, например для Индии. Там война была уделом профессиональных солдат, и втянутые в неё государства пытались достичь монополии на использование организованного насилия. Пока гражданское население не страдало от побочного ущерба или вражеского вторжения в прифронтовые области, от него, как правило, ожидалось выполнение повседневных занятий, так как оно должно было заботиться о снабжении и финансировании войны. Если монарх и его солдаты вели войну, штатские должны были, прежде всего, сохранять спокойствие.

Однако в период революционных войн во Франции ситуация изменилась. Внезапно война, как заметил Карл Клаузевиц, снова стала делом народа, одного народа в 30 млн. человек, которые стали определяться как граждане государства (27). Правда, воодушевления масс было явно не достаточно: уже в июле 1793 г. якобинцы ввели воинскую повинность для мужчин от 18 до 25 лет. Все остальные граждане и граждане со своей стороны были призваны содействовать военным усилиям. Женатые мужчины должны были изготавливать оружие, женщины — одежду и палатки, а дети — перевязочные средства, в то время как старики были обязаны собираться в публичных местах для поддержания боевой морали (28). Таким образом,

родилась идея тотальной мобилизации государства и общества на военные цели. Революционная Франция оказалась не в состоянии её реализовать, и в конце концов оказалась к этому не готова. В этом, как и в последующих случаях стало ясно, что полностью мобилизовать относительно высокоразвитое общество почти невозможно. В суровой реальности тотальной войны подобная мобилизация всегда наталкивалась на отказ и сопротивление. Кроме того, очень тяжело оказалось создать требуемую для тотальной мобилизации систему управления. Это же можно сказать и о попытках полной мобилизации на военные цели экономики. Капиталистическим государствам ориентирование экономики страны на единственную цель — войну давалось особенно тяжело по принципиальным причинам. Леон Гамбетта приобрел этот опыт, когда он в 1870/71 гг. пытался организовать массовый призыв солдат на ведение «guerre а outrance». Всё же ему удалось в удивительно высокой степени мобилизовать общество и экономику оккупированной Франции на войну против вторгшихся немецких армий (29). В период Гражданской войны в США конфедераты также старались мобилизовать все ресурсы на военные усилия, и важную роль для деятелей тыла играли женщины. Кроме того, конфедеративное правительство путем введения строгих мероприятий пыталось создать военную экономику. Северные же штаты, ввиду своего превосходящего экономического потенциала, не сочли нужным заходить так далеко. Однако южанам не удалось даже приблизиться к тотальной мобилизации (30).

Можно привести аргументы, что обе мировые войны не внесли принципиальных изменений. Конечно, немецкие ведомства в период Первой мировой старались мобилизовать общество и экономику на военные нужды, а после 1916 г. в этом направлении проявляло активность и британское правительство. В США правительство Вильсона проводило весьма «неамериканскую» политику государственного контроля над экономикой и обществом. Однако до тотальной мобилизации они так и не дошли. В Германии Программа Гинденбурга подорвала мораль тыла и, в сущности, провалилась. Поэтому в ходе Второй мировой войны нацистский режим долгое время опасался вводить внутри страны мероприятия тотальной войны. Только 1944 г. демонстрирует отчетливое проявление тотальной мобилизации. Ранее чем Германия и более значительных успехов в этом направлении достигли Великобритания и, прежде всего, Советский Союз. Однако открытым остается вопрос, действительно ли в этих случаях дело дошло до тотальной мобилизации, что все же представляется маловероятным. С другой стороны, нет сомнений в том, что в период с 1861 по 1945 гг. действительно наметилась тенденция

к тотальной мобилизации. Это проявилось прежде всего в том, что страны-участницы мировых войн в определённой степени равнялись на такую войну, какой в истории организованного государством ведения военных действий ещё никогда не было. Проблема тотальной мобилизации также демонстрирует, что в случае «тотальной войны» речь может идти об идеальном типе, который никогда не будет осуществлен на практике. Тем не менее, чрезмерные затраты энергии неоднократно вызвали искушение приблизиться насколько возможно к этому идеальному типу.

Тотальный контроль. В относительно высокоразвитых обществах наряду с политикой тотальной мобилизации одной из главных целей становилось достижение тотального контроля. Необходимо было не только преодолеть возможное сопротивление мобилизации, но и добиться её эффективной организации. Кроме того, нельзя было просто полагаться на воодушевление граждан, нужно было подкреплять его с помощью пропаганды.

Возможно, наиболее ярким институтом принудительной мобилизации явилась воинская повинность. Вследствие того, что при длительных войнах число добровольцев снижалось, воинская повинность гарантировала достаточное пополнение «человеческого материала» для полей битв и способствовала усилению власти военных ведомств. Политика тотальной войны означала не что иное, как подчинение практически всех сфер человеческого существования централизованному контролю руководства. И всё же, несмотря на все усилия, полный контроль не мог быть достигнут.

Якобинцы пытались установить контроль посредством террора — и провалились. В Гражданскую войну в США обе стороны использовали принуждение и систематическую пропаганду для того, чтобы сплотить граждан под соответствующим знаменем. Цензура печати, произвольные аресты и, прежде всего, мобилизация армий служили — с разными результатами — важнейшими средствами внедрения контроля (31). Ещё более отчетливо это проявилось в период мировых войн. Воинская повинность стала правилом, а с 1916 г. даже в Великобритании. Это отрицательно отразилось на свободе отдельной личности (32). Цензура и военная пропаганда расценивались как норма и как военная необходимость. Террор в период Второй мировой был повседневной составляющей национал-социалистических и советских военных усилий.

Также была осуществлена попытка поставить под контроль экономику. Основные примеры — «военный социализм» Людендорфа и тотальная военная экономика Альберта Шпеера. Советская командная экономика, сравнимая с попыткой организовать тотальную воен-

ную экономику и в мирное время, в период войны не потребовала дальнейших шагов к введению государственного контроля. Многие из этих мероприятий централизации оказались действительно успешными. Всё же сомнительно, что был достигнут полный контроль. В этой связи мы должны учитывать основополагающий парадокс тотальной войны: попытка достигнуть тотального контроля слишком легко оканчивается хаосом. Один из впечатляющих примеров — политика Эриха Людендорфа, провал которой, в конечном счёте, привёл к краху и революции.

Всё же политика тотальной войны без сомнения может привести к длительно сохраняющемуся и широко распространенному контролю, а также к ужасающим результатам. Это доказывают процессы в нацистской Германии 1943–1945 гг. и в Советском Союзе в период «Великой Отечественной войны».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинство компонентов, составляющих тотальную войну, кажутся определёнными. Также отчётливо видно, что историческое развитие эпохи 1861–1945 гг. не может быть понято в смысле теологического «большого рассказа». Представление об эпохе «тотальной войны» было бы ошибочным, если в ней видеть что-то большее, чем средство сравнительной интерпретации. Реальной тотальной войны не могло быть и не было. Однако, множество конкретных случаев, недвусмысленно свидетельствуют о движении по направлению к тотальной войне. Некоторые из них, например немецкие военные устремления 1870/71 гг. содержат только один или два компонента. Другие — заключительный этап Второй мировой войны — кажутся приближением к осуществлению идеального типа. Каждый подобный случай имеет свою собственную историю. Однако между ними существует связь. Возможно, важнейшее звено этой связи заключается в исчезновении разделяющей линии между военным и гражданским обществом. Суть тотальной войны — сознательное втягивание гражданских лиц в военные действия. Без прямой поддержки гражданского общества переход к этому распространенному и наложившему отпечаток на целую эпоху типу войны был бы невозможен. Одновременно гражданские лица превратились в мишень.

С понятием тотальной войны не случайно связываются картины пылающих деревень и городов, а также бесчисленные мирные жерт-

вы. Они были результатом этого концепта войны. Кровавая дорога тотальной войны ведёт от Джорджии, Южной Каролины и Шенандоа, от Страсбурга и Парижа, через Бельгию, испанскую Гернику и Нанкин в Китае, через Лидице, Орадур, бесчисленные греческие, сербские и советские деревни к Бабьему Яру, Аушвицу, Дрездену, Хиросиме и Нагасаки. Поэтому центральным пунктом исследований эпохи тотальной войны должны стать не только нужда и бедствия, но и активная роль мирного населения в современной войне.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мысль о том, что окончание холодной войны могло бы привести к объединенному принципам капитализма и демократических свобод миру и тем самым к концу истории вообще, была с самого начала несколько гротескной. См.: *Fukuyama F. The End of History and the Last Man*. — New York, 1992.

2. Мартин ван Кревельд приходит к этому выводу исходя из оснований, что развитие тотальной войны продолжается. Вместо организованного межгосударственного военного конфликта, по его мнению, возникнет менее массивное военное противостояние, ведущееся движениями сопротивления и террористами. Таким образом, большие армии станут излишними. В аргументации Кревельда прослеживается влияние опыта Израиля во время Интифады, однако вторая война в Персидском заливе и война в Косово её опровергают. См.: *Martin van Creveld. The Transformation of War*. — New York, 1991.

С другой стороны, недавняя война России в Чечне указывает на то, что «старомодные» формы ведения войны ни в коем случае не отмерли. Здесь не делалось оглядки на гражданское население. Напротив складывается впечатление, что гражданское население стало объектом и целью жестоких атак. Русское военное руководство всё ещё не в состоянии отказаться от методов тотального ведения войны.

3. См.: *John Keegan. A History of Warfare*. — London, 1993.

4. См.: *Lawrence Keeley. War before Civilization*. — New York, 1996.

5. См., например, доклады Р. Чикеринга, М. Пёльмана, Х. Страхана, Т. Баумана и Д. Сегессера.

6. Все публикации по итогам конференций вышли в рамках серии Немецкого исторического института в Вашингтоне: *Stig Foerster und Joerg Nagler (Hg.). On the Road to Total War. The American Civil War and the German War of Unification, 1861–1871*. — Cambridge, 1997; *Manfred F. Boemeke, Roger Chickering, Stig Foerster (Hg.). Anticipating Total War. The American and German Experiences, 1871–1914*. — Cambridge, 1999; *Roger Chickering, Stig Foerster (Hg.). Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914–1918*. — Cambridge, 2000.

7. *Roger Chickering. Total War: The Use and Abuse of a Concept // Boemeke, Chickering and Foerster (Hg.). Anticipating*. S.13–28, цитата S.27.

8. См.: *Stig Foerster, Joerg Nagler. Introduction // Dieselben. On the Road*. S.1–28.

9. *Mark E. Neely Jr. Was the Civil War a Total War? // Foerster and Nagler. On the Road*, S. 29–52; *James M. McPherson. From Limited War to Total War in America // ebenda*. S.295–310.

10. *James M. McPherson. Battle Cry of Freedom. The Civil War Era*. — New York, 1988. S.490.

11. См., например, *Stig Foerster*. The Prussian Triangle of Leadership in the Face of the People's War: A Reassessment of the Conflict between Bismark and Moltke, 1870–71 //ebenda. S.115–140; *Robert Tombs*. The War against Paris //ebenda. S.451–564.
12. *Stig Foerster*. Dreams and Nightmares: German Military Leadership and the Images of Future Warfare, 1871–1914 //Boemeke u. a. Anticipating. S.343–376.
13. *Chickering*. Total War.
14. Обзор данной эпохи представлен в: *Geoffrey Best*. War and Society in Revolutionary Europe, 1770–1870. — London, 1982. S.191–295.
15. Опустошительные бедствия в Европе начались без сомнения с Первой мировой войной. Однако эта война не была необходимой или неизбежной, а в самом деле имела абсурдные причины. Более подробно об этом см.: *Stig Foerster*. Im Reich des Absurden. Die Ursachen des Ersten Weltkrieges //Bernd Wegner (Hg.). Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten. — Paderborn, 2000. S.211–252.
16. Цит. по: *McPherson*. Battle Cry. S.310
17. Цит. по: Там же. S.558.
18. *Foerster*. Prussian Triangle. S.133.
19. См., например: *Jost Duelffer*. Regeln gegen den Krieg? Die Haager Friedenskonferenzen 1899–1907 in der internationalen Politi. — Frankfurt/Main, 1981.
20. *Niall Ferguson*. The Pity of War. — London, 1998. S.367–394.
21. *Reid Mitchell*. Our prison System, Supposing We Had Any: The Confederate and Union Prison System //Foerster und Nagler. On the Road. S.565–586.
22. Manfred Botzenhart. French Prisoners of War in Germany, 1870–71 //ebenda. S.587–595.
23. *John Horne, Alan Kramer*. War between Soldiers and Civilians, 1914–1915 //Chickering und Foerster. Great War. S.153–167.
24. Cp.: *Rolf-Dieter Mueller*. Total War as a Results of New Weapons? The Use of Chemical Agents in World War I //ebenda. S.95–112, и *Holger H. Hertwig*. Total Rhetoric, Limited War: Germany's U-Boat Campaign, 1917–1918 //ebenda. S.189–206.
25. *Foerster*. Prussian Triangle. S.131 f.
26. К этому комплексу за последнее время см.: *Dittmar Dahlmann* (Hg.). Kinder und Jugendliche in Krieg und Revolution. — Paderborn, 2000.
27. *Carl von Clausewitz, Vom Kriege* (Hg.). Von Werner Hahlweg. — Bonn, 1980. S.970.
28. *Albert Soboul*. Die Grosse Franzoesische Revolution. — Frankfurt/Main, 1973. S.294 f.
29. *Stephane Audoin-Rouzeau*. French Republic Opinion and the Emergence of Total War //Foerster und Nagler. On the Road. S.393–412.
30. *Donna Rebecca D. King*. Women and the War in the Confederacy //ebenda. S.413–448; *Stanley L. Engreman und J. Matthew Gallman*. The Civil War Economy: A Modern View //ebenda. S.217–248
31. См.: *Mark E. Neely Jr.* The Fate of Liberty: Abraham Lincoln and the Civil Liberties. — New York, 1991; *Joerg Nagler*. The Front in the American Civil War и *Phillip S. Paludan*. «The Better Angels of our Nation»: Lincoln, Propaganda and Public Opinion in the North during the Civil War //Foerster und Nagler. On the Road, S.329–356, 357–376.
32. В Первую мировую войну активные противники войны жестоко преследовались как в Германии, так и в Великобритании. См.: *Francis L. Carsten*. War against War: British and German Radical Movements in the First World War. — London, 1992.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ

Игорь НАРСКИЙ

Мне — как и некоторым другим коллегам — недостаёт в докладе сюжета об истории понятия «тотальная война». Мне это кажется важным, так как это понятие было порождено и использовано, в том числе и в преступных целях, политической пропагандой 1920-х и 30-х гг., и поэтому одним мановением волшебной палочки оно не может стать безупречным научным понятием. Оно отражало страхи и надежды современников, и до сих пор провоцирует значительные эмоциональные и моральные реакции в общественном дискурсе европейцев и американцев. Я хорошо представляю себе, что американцы и французы (как показали упомянутые конференции по тотальной войне) не желают видеть в собственной исторической традиции ростки тотальной войны. Я также уверен, что даже русские, вопреки своему чувству неполноценности, энергично отказались бы от подобной чести, если бы были найдены истоки тотальной войны в русской революции.

Несомненно, это трудная задача наряду с «объективными» признаками никогда не осуществленной тотальной войны представить «субъективную» историю данного понятия. Однако я убеждён, это стало бы важным шагом к последовательному научному определению понятия (и в конечном результате к более эффективному использованию концепта) тотальной войны.

Юлия ХМЕЛЕВСКАЯ

На мой взгляд, следовало бы несколько осторожнее относиться к самому понятию «тотальная война», которое представляет собой скорее пропагандистскую метафору, чем концепт — ведь оно сложилось во второй половине Первой мировой войны и после её окончания именно как пропагандистское клише, созданное, кстати сказать, не военными, а политиками, историками и журналистами для характеристики нового опыта этого конфликта и использовалось — и тогда, и впоследствии — не как некая доктрина, а именно как дефиниция, не требующая особых уточнений. Коннотация «тотально-сти» оказалась настолько удобной, она настолько хорошо «работала»

в течение XX в. в качестве объяснительной и мотивационной схемы, что как-то незаметно ей стал придаваться характер неотрефлексированной универсальной концепции, применяющейся как на уровне мировой политики, так и на «периферии» — во внутренних и локальных конфликтах и даже в повседневной жизни. Возможно, имело бы смысл проследить процесс формирования этого понятия и эволюцию вкладываемого в него содержания, иначе общие рассуждения о возможности тотальной мобилизации, тотального контроля, тотальном терроре, равно как и выводы о тотальной войне как идеальном типе, рискуют превратиться в интеллектуальную риторику, аналогичную известной дискуссии о возможности «истинной демократии» или «настоящего» тоталитаризма.

Евгений ВОЛКОВ

Профессор Ш. Фёрстер, выдвигая свою концепцию тотальной войны, демонстрирует современный подход в исторической науке к такому общественному явлению как война. И это можно только приветствовать. Довольно убедительно звучит его мысль о том, что признаки тотальных войн стали проявляться в революционных войнах Франции и Северной Америки в последней четверти XVIII в., когда война стала делом всего народа. Автор статьи рассматривает тотальные войны через призму их некоторых признаков. Однако в рассуждениях Ш. Фёрстера не затронуты черты, на мой взгляд, также характерные для тотальных войн. Прежде всего, это межнациональные войны не отдельных государств, а военно-политических блоков, объединяющих несколько стран. Именно такие войны, по их окончании, создавали новый мировой порядок под вывеской новой «системы международной безопасности» на послевоенном пространстве. Начало подобной тенденции положили, по-моему, наполеоновские войны, завершившиеся Венской международной системой.

Конечно, можно сказать несколько слов и об изменившихся представлениях общества XX в. о мировых войнах, которые, как показала история, очень близки к идеальному типу тотальных войн. Так, если начало Первой мировой войны во многих европейских странах встречали восторженно, ожидая её близкое и победоносное окончание, то на события 1 сентября 1939 г. мир во многом смотрел уже по-другому: со страхом и трепетом. Это ли не свидетельство того, что в окопах Первой мировой и родилась та боязнь, та озабоченность за судьбу мира. После этой войны радикально изменилось отношение многих людей к войнам, которые приблизились по своим основным параметрам к тотальным.

Неудачными, как мне кажется, являются примеры автора, основанные на опыте гражданских войн. Любая гражданская война, даже

такая широкомасштабная в XX столетии как в России, может иметь самые минимальные признаки тотальных войн. Хотя гражданские войны по своей ожесточённости и человеческой деструктивности, как правило, превосходят войны межнациональные, но масштабы их военных действий и участия в них населения намного уступают войнам межгосударственным.

Оксана НАГОРНАЯ

В последние несколько лет вопрос о восприятии и усвоении властью, отдельными социальными группами и индивидами опыта вооружённых противостояний является одной из центральных тем в исследованиях невоенных аспектов европейских и мировых конфликтов Нового времени. В этом ракурсе попытка Ш. Фёрстера и его коллег определить линию преемственности, а возможно и переломы в развитии войны не только как политического, но и как культурного явления видится весьма своевременной и перспективной. Хотя само понятие «тотальная война» в силу своего пропагандистского происхождения придает данной дискуссии известную конъюнктурность, а попытка определить данный конструкт в качестве «идеального типа» и тем самым вывести его на строго научный уровень усложняет его применение к конкретно-историческому материалу. На наш взгляд, возможным решением данной проблемы было бы обращение к понятию «тотализация войны», используемому отдельными исследователями Первой мировой, что позволило бы констатировать незавершенность процесса и нелинейный характер его развития. Кроме того, привлечение российского материала, несомненно, обогатит данную дискуссию и откроет для сравнительного исследования новые перспективы.

К сожалению, в материале Ш. Фёрстера не нашёл достаточного отражения феномен военного плена, трансформация которого в период Нового времени достаточно ярко отражает процессы тотализации войны и контроля над обществом в тылу. Автор упоминает убийство пленных как одно из доказательств снижения порога насилия на фронте и внедрения тотальных методов борьбы в период Первой мировой войны, однако он не использует материал Восточного фронта, который позволяет иллюстрировать и другие составляющие обсуждаемой концепции: стремление к тотальной мобилизации и тотальному контролю. Именно с 1914 г. с возникновением «материального противостояния» военный плен превратился в массовый опыт, затрагивающий не только подвергнутых многолетнему заключению индивидов, но и воюющие государства и общества в целом. Лагерь военнопленных стали объектом массовой пропаганды

и особой подсистемой воюющего общества, выполнявшей принципиально важные в условиях нового типа войны функции экспериментальной площадки для военных медиков и обеспечения военной экономики дешевой рабочей силой (до 90% пленных стран Восточного фронта были привлечены к принудительному труду). Именно здесь обнаруживаются множественные признаки так называемых «тотальных институтов», в рамках которых была сформирована огромная масса людей с пониженным порогом восприятия насилия и потенциально готовых к репрессиям. И хотя вопрос о генетической преемственности лагерей военнопленных Первой мировой войны с их системой принудительного труда и концентрационных лагерей сталинского Советского Союза и национал-социалистической Германии остается пока предметом дискуссии, однако вне всякого сомнения, опыт военного плена был воспринят межвоенными диктатурами в качестве модели контроля и дисциплинирования отдельных групп и социума в целом. Более широкой трактовки требует также рассматриваемое автором понятие тотального контроля, которое сводится им к террору, военной пропаганде и цензуре как средствам обеспечения набора в армию и функционирования военной экономики. Новой характеристикой войн, во многом определившей в целом облик «экстремального столетия», стала тотализация контроля над общественным мнением, что проявилось в трансляции со стороны власти образцов переживаний и понимания войны, а также основных составляющих коллективной памяти о войне. В условиях трансформации ментальных и ценностных структур в ходе мирового конфликта, формирование шаблонов восприятия и толкования происходящих событий, а также определение образов коллективной памяти стало весомым социальным и политическим капиталом, в борьбу за обладание которым вступили власть, группы и отдельные индивиды. Политические режимы стремились монополизировать или по крайней мере повлиять на процесс усвоения опыта с целью духовной мобилизации общества на войну, а также легитимации своих действий внутри страны и на международной арене. Причём, как показывают некоторые исследования (См., например, *Холкеист П.* Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // *Россия и Первая мировая война*. СПб., 1999. С.83–101), социальные группы активно участвовали в данном процессе, породив явление самомобилизации общества на масштабные военные цели, расширив тем самым организационные возможности государства и открыв путь к его революционной трансформации. Поэтому достаточно плодотворным в рамках обсуждаемой концепции видится изучение общественной коммуникации

в период 1861–1945 гг., что позволило бы через процессы обсуждения и усвоения социальными группами и индивидами опыта новой войны осветить перспективу не только структур, но и участников.

Максим САПРОНОВ

Некоторые участники дискуссии высказали сомнения по поводу адекватности использования концепта тотальной войны не только для рассмотрения современного периода истории, но и для анализа эпохи 1861–1945 гг. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на ряд моментов, которые, на наш взгляд, могут поколебать указанные сомнения, и в то же время дополняют некоторые концептуальные положения Ш. Фёрстера.

Во-первых, как представляется, можно достаточно чётко зафиксировать не только время возникновения рассматриваемого концепта, но и необходимость его появления. Если следовать К. Попперу, то существует два способа введения новых понятий. Первый предполагает умозрительный (интуитивно-логический) метод, когда сначала даются определения важнейшим категориям, которыми будет оперировать концепция, а затем все наблюдаемые эмпирические факты интерпретируются в соответствие с ранее выстроенной системой категорий. В противовес этому американский науковед выдвигает номиналистский метод, когда в целях сокращения научного текста тому или иному явлению или факту присваиваются определённые обозначения. Данный метод тем более необходим, когда исследователь сталкивается с качественно новыми, ранее не регистрируемыми явлениями и фактами. В случае с концептом тотальной войны перед нами как раз такой вариант появления нового понятия, которое было призвано терминологически зафиксировать качественно новые способы и принципы ведения военных действий в ходе разразившейся в 1914 г. Первой мировой войны. Это новое качество зафиксировали не только военные теоретики, но и общественное сознание, примером чему может служить, например, литература «потерянного поколения».

Второй момент связан с выявлением наиболее существенных составляющих рассматриваемого концепта. Ш. Фёрстер не раз говорит (и приводит примеры) о трудностях, с которыми в данном случае сталкиваются исследователи. Как нам представляется, инвариантным ядром концепта тотальной войны выступают тотальные цели последней. Но, на наш взгляд, немецкий учёный в соответствующем месте своих размышлений пишет не о собственно целях, а о способах и методах их достижения в условиях тотальной войны (безоговорочная капитуляция противника, уничтожение мирного населения и т. п.).

На самом деле под тотальными целями здесь нужно понимать стремление противоборствующих сторон установить по итогам войны диктат своей собственной культуры, своих ценностей и образа жизни как единственно правильных и адекватных. Только при таком условии возможно придание всеобщности и всем остальным компонентам тотальной войны (тотальная мобилизация, тотальный контроль, тотальная экономика и т. п.).

Наконец, несколько слов об актуальности использования концепта тотальной войны в исследованиях современности. Уже сам факт того, что человечество в течение каких-то трёх десятилетий XX в. пережило две ужасные катастрофы, с неизбежностью заставляет задумываться над вопросом о возможности повторения и путях недопущения подобного кошмара. Нетвердое убеждение Ш. Фёрстера, что «эпоха тотальных войн, кажется, миновала», честно говоря, не придает оптимизма. Призывы к тотальной войне как против терроризма, так и против «западных ценностей» и глобализации уже звучат. И мы должны опасаться того, чтобы они не превратились в стройный хор голосов большинства человечества.

Д м и т р и й С Е Д Ы Х

У меня, в частности возникают сомнения в целесообразности обращения при разработке данной проблемы к опыту гражданских войн, т. к. по своей специфике внутренние и межгосударственные конфликты принципиально отличаются друг от друга, в том числе и в плане участия в них гражданских лиц. Последнее же (я имею ввиду опыт участия в военных событиях представителей гражданского общества) вполне заслуживает специального изучения как особого социального явления, присущего различным историческим периодам.

Что касается тотальной войны, то она, безусловно, представляет собой явление характерное исключительно для индустриальной эпохи. Вне её контекста говорить о тотальной войне мне представляется не совсем корректным, т. к. выделяемые критерии этого феномена оформляются в ходе процесса модернизации.

Во избежание некорректных постановок вопроса, а также, для того чтобы иметь возможность осуществлять сравнительный анализ разнородного материала, на мой взгляд, было бы полезно задействовать наряду с термином «тотальная война» ещё ряд терминов для обозначения близких рассматриваемой проблеме явлений.

Д м и т р и й Т И М О Ф Е Е В

В целом можно согласиться с тезисом о наличии определённой тенденции в истории военных столкновений, основным содер-

жанием которой является стирание границ между военными и гражданскими структурами. Однако неоднократно встречающиеся замечания о том, что тотальная война это лишь «идеальный тип», который в полном объеме никогда не был воплощен в реальности, а также размытость хронологических рамок для отождествления тех или иных явлений и процессов как относящихся к понятию «тотальная война», наводят на размышления о необходимости определённой корректировки подходов к изучению данной проблематики.

На мой взгляд, целесообразна была бы не попытка конструирования универсального определения «тотальная война», а изучение национальных моделей проявления признаков тотальной войны в конкретно-исторической реальности отдельных стран. Руководствуясь указанными в статье формообразующими признаками, которые могут быть приняты в качестве инвариантного ядра понятия «тотальная война», следует исследовать в каком объеме присутствовал в конкретно-историческом пространстве отдельной страны тот или иной признак. Таким образом, предложенные элементы концепта тотальной войны могут рассматриваться лишь как форма, содержание которой всегда будет корректироваться и дополняться в соответствии с распространенными в конкретном обществе представлениями о смысле войны и образе врага. В итоге возможно получение достаточно пёстрой мозаики представлений, образов, практических действий, отражающей эволюцию взаимоотношений военных и гражданских общественных структур в периоды военных столкновений. На мой взгляд, такой подход позволит несколько уменьшить умозрительный характер понятия тотальная война, которой, по словам уважаемого автора статьи, в реальности «не могло быть и не было». Изучение конкретно-исторических особенностей национальных моделей на основании условно выделяемых исследователями признаков тотальной войны, возможно, будет способствовать уточнению хронологических и территориальных границ для тех явлений, которые составляют содержание понятия «тотальная война».

Р о з а л и я Ч Е Р Е П А Н О В А

Прежде всего, хотелось бы решительно возразить против отнесения любых гражданских войн к категории «тотальных». Конструкт «тотальной войны» должен быть в этом смысле дополнен соответствующими оговорками, без которых «участие мирных граждан в военных действиях», «тотальные цели войны» и иные признаки могут только ввести в заблуждение.

На роль определяющих признаков, на первый взгляд, напрашиваются: переход к индустриальному обществу; мобилизующая население активность государства; массовый тип армии.

Именно отталкиваясь от этих признаков, как от определяющих, автор расчищает для тотальной войны весьма ограниченный исторический период, отмечая, что с конца XX в. ситуация кардинально меняется в сторону профессионализации войн, в результате чего вновь становится возможным традиционное разделение на солдат и мирных жителей. Таким образом, констатирует Фёрстер, эпоха тотальных войн уже миновала.

Однако опыт «локальных» войн последнего десятилетия показывает, что при столкновении профессиональной армии с тотальным сопротивлением населения последнее способно навязывать «профессионалам» практики «тотальной войны» (поскольку тотальное сопротивление населения — это единственный способ для страны, не имеющей профессиональной армии достойного уровня, оказывать сопротивление «профессионалам» противника). В этих условиях принятие «профессионалами» практик «тотальной войны» становится для них единственным условием выживания.

В связи с этим представляется любопытным повернуть проблему тотальной войны иначе — через призму столкновения культур. Тотальная война между культурами возникает, по-видимому, в тех случаях, когда противники говорят «на разных языках», и достижения одной культуры не могут быть эффективно использованы и гармонично вмонтированы в другую культуру; когда врага проще убить, чем интегрировать в структуры своего общества, заинтересовать в лояльности и быть в такой его лояльности уверенным. Не случайно Британия, Франция и США на протяжении XIX–XX вв. совсем по-разному воевали в Европе и в Азии; а гитлеровская Германия иначе воевала с Францией и Великобританией, чем с Советским Союзом.

Культурного и социопсихологического материала в представленных тезисах явно не хватает. Ведь, помимо прочего, тотальная мобилизация на войну осуществляется не только в экономической, но и в психологической, культурно-идеологической сферах.

Если же вспомнить о том, что историк всегда, говоря о прошлом, подразумевает настоящее, концепция «тотальной войны» очень напоминает рационализацию той картины мира, в рамках которой сейчас удобно осмыслять себя «западному человеку». Удобно мыслить об окончании периода страшных «тотальных войн»; удобно думать о том, что в нынешнем «однополярном» мире история «не подошла к концу», а также о том, что не родовые и культурные структуры на Кавказе навязали российской армии практики «тотальной войны», а совсем наоборот. Однако и начавшийся в России период «контрреформ», и активная борьба «западной демократии»

против срочно найденных новых врагов, достойных по уровню опасности заменить прежний Советский Союз, говорят о том, что короткий период однополярности показался именно шокирующим «окончанием истории», после чего историю потребовалось «запустить» вновь. При этом, успокаивает нас Ш. Фёрстер, террористическая угроза, от которой, как оказалось, не застрахованы мирные граждане самой сильной державы, которая, с подачи государства, мобилизует всё общество, тотально, искать подозрительные свёртки в метро, тотально отказываться от части своих свобод, тотально испытывать психологический дискомфорт перед людьми восточной внешности (с которыми невозможно вести переговоры и достигать компромисса), и т. п., «тотальной войной» не является.

Конечно, любой интеллектуальный конструкт несколько деформирует осмысляемую реальность. Тем не менее, хотелось бы попросить автора быть более корректным с фактическими примерами. То, что г-н Фёрстер говорит о XX в., выглядит гораздо убедительнее его обращений к XIX-му столетию вообще и историям отдельных стран и войн, в частности (наполеоновские войны, Крымская война). Разумеется, некоторый процент «погрешности» изначально заложен в каждом историческом исследовании; вопрос в том, насколько большим оказывается этот «процент», и оправдывает ли интеллектуальная модель принесенные ей в жертву исторические упрощения.

А л е к с а н д р Ф О К И Н

Размышляя над материалом, я мысленно обратился к дискуссии между холизмом и номинализмом. Это связано с тем, что признаки тотальной войны распространяются на всю Вторую мировую войну, то есть вы её рассматриваете её как единое целое.

Мне представляется, что рамках Второй мировой войны следует говорить о нескольких войнах. Например, советская историография чётко различает Вторую мировую и Великую Отечественную. Данный подход позволяет более корректно рассматривать характер войны, а точнее войн, поскольку в рамках Второй мировой проходят несколько войн: война Германии и СССР, война Японии и США, война Германии и Англии и т. д. Если же говорить о Первой мировой войне, то следует акцентировать прежде всего её индустриальный, а не «тотальный» характер. Первая мировая стала результатом соперничества за ресурсную базу и рынки сбыта, и, исходя из этого её цели носили «ограниченный» характер. В целом, характер Первой Мировой войны позволяет скорее говорить о своеобразной системе «конвейера» в ведении войны, когда солдаты скорее «работают», исполняя однообразные действия подобно рабочим на индустриаль-

ном предприятии, чем воюют, в привычном смысле этого слова. И успехи в такой войне соотносятся с ресурсным обеспечением воюющих стран. Война становится конкурентной борьбой, и успех сопутствует лучше организованному «производству». Мне кажется, что все мероприятия по ужесточению контроля и цензуры можно объяснить именно стремлением обеспечить эффективное «производство».

А н д р е й Р О М А Н О В

Н а мой взгляд, попытки создания некоей метаисторической модели «тотальной войны» обречены на поражение. Мы погружаемся в бесконечные сравнения войн разных эпох и народов с целью выяснения степени их «тотальности», при этом теряя контекст каждой отдельной военной кампании. Расширение аналитической аргументации, вызванное стремлением «оправдать» некоторые отклонения в военных кампаниях, вроде бы подпадающих под определение «тотальных», а также стремлением втиснуть в дискурс «тотальной» войны экзотические факты Дагомейского военного опыта ведёт к тому, что с точки зрения читателя, эта операция сравнения-сопоставления становится бессмысленной, т. к. количество «отклонений» доказывает скорее невозможность типизации, а не её продуктивность. Модель кажется продуктивной лишь в случае современной «западной» психологической рационализации, о котором пишет Р. Черепанова.

Стремление к созданию универсальной модели затемняет смысл самого понятия «тотальная война», которое, скорее всего, явилось результатом кризиса европейской идентичности, последовавшего за Первой мировой войной. Если возникновение понятия связано со специфичной культурно-исторической обстановкой в Европе в межвоенный период, то почему бы не исследовать его в этом, вполне определённом, контексте?

Может быть, более продуктивным стало бы рассмотрение смысла термина «тотальная война» в момент его возникновения и далее в последующих ретрансляциях? Изобретение определения и его использование прямо отсылают нас к разнообразному (военному, коммуникативному, политическому и даже физиологическому, если вспомнить о ссылках автора на медицину как одно из исторических измерений исследования), опыту людей.

К тому же, изобретатели термина наверняка действовали в рамках конкретного общественно-политического дискурса и в послевоенных условиях осваивали опыт нового прочтения старых идеологических конструктов. Типизация уместна в тех случаях, когда она указывает на совпадение смыслов и значений освоенного культурно-

го опыта (в т. ч. военного), случившееся в разных исторических контекстах. Случай же с термином «тотальная война» слишком увязан с опытом Европы 10–х — 40–х гг. XX вв.

Х а й к о Х А У М А Н Н *

В целом я нахожу доклад очень интересным и полезным. Иногда мне несколько не хватает чёткости понятия «тотальная война». Разве мирное население не вовлекалось самым активным образом во многие войны до начала Нового времени? А как быть с вооружёнными восстаниями, в которых гражданское население было и актером, и жертвой (например, Крестьянская война)? Кроме названных примеров, войны за раздел Польши также были направлены на тотальное подчинение (а во время сопротивления мирное население как подвергалось мобилизации, так и сознательно уничтожалось; примером тому могут служить участие крестьян в восстании Костюшко 1784 г. или резня, учинённая победившей русской армией в Пражском предместье Варшавы). Осмелюсь усомниться также, что советская командная экономика была способна к тотальному контролю. Более разумным мне представляется использование тезиса Дитмара Нойтатца о «внутреннем состоянии войны» во имя мобилизации населения для целей партийного и государственного руководства.

К а р м е н Ш А Й Д Е

По-моему, заключительное предложение, касающееся человеческого военного опыта, открывает особенно полезные исследовательские перспективы.

Хочу выступить в поддержку часто упоминавшегося аспекта — об отношениях власти и общества по поводу применения, практики и возобладания насилия.

Почему оказалась возможна его радикализация вплоть до признания массового уничтожения? Какими способами можно было мобилизовать массы, особенно с точки зрения индивидуума? Где лежат границы «тотального контроля» и возможностей альтернативного поведения?

Штиг Фёрстер пишет, что структурные условия тотальной войны в целом известны. Тем более напрашивается вопрос о продуктивном сравнении. Из перспективы «акторов» меня интересуют происхождение и усвоение образов врага и образцов насилия, готовность к конфликтам и способы их разрешения, а также использование насилия и последующее осмысление военных событий.

* Здесь и далее переводы комментариев зарубежных участников выполнены И. Нарским, О. Никоновой, О. Нагорной и Ю. Хмелевской — *прим. сост.*

В завершение позволю себе ещё несколько вопросов. Понятие «тотальная война» использовалось в языке нацистской пропаганды, а в данном случае применяется как научный термин. Желательной была бы проблематизация определения. Я охотно бы продолжила дискуссию и о временных границах: в предложенной статье они связаны с войнами, начиная с времен французской революции, но, вероятно, растяжимы и применимы как к более ранним, так и более поздним войнам.

Т а м а р а Ш У К Ш И Н А

Я позволю себе не согласиться с точкой зрения Дмитрия Александровича Седых об ограничении тотальных войн эпохой индустриализации. Признаки тотальной войны, отмеченные в статье, на мой взгляд, справедливо отнесены Хайко Хауманном и к более ранним, чем 1861 гг. Тотальность войны в статье Штига Фёрстера определена же, в первую очередь, степенью задействованности в ней всего человеческого рода. Так, период истории, предшествовавший оформлению наций, когда признаки тотальной войны мы видели в войнах групп людей отдельных обществ, временем тотальной войны не считается. С момента складывания наций и их участия в войнах, то есть с расширением количества затронутых войной людей, автор говорит о «подготовительной» стадии эпохи тотальных войн. Сама же эпоха начинается с момента, когда подавляющее большинство человечества так или иначе охвачено войной. Каждому, не важно, гражданину ли воюющей или нейтральной стороны, каждому эта война не безразлична. Тотальность войны, на мой взгляд, определяется в первую очередь не политическим или экономическим аспектами, а духовной всеохватностью — всеохватностью всего человечества.

Г е н н а д и й Б О Р Д Ю Г О В

Мне кажется, что в понимание главных составляющих концепта тотальной войны весьма существенные моменты способен внести опыт России XX в.

Во-первых, он позволяет расширить цели тотальной войны, когда она развязывалась во имя предотвращения революции (Русско-японская война, вступление в Первую мировую войну); рассматривалась как «всесильный режиссер» революции и захвата власти (для Сталина, к примеру, пролетарская революция — это тотальная война, «бой роковой» в мировом масштабе); использовалась для навязывания своего строя — не только капитуляции противника — «кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему» (Сталин–Тито).

Во-вторых, российский опыт даёт возможность по-иному подойти к методам тотальной войны. Но прежде всего увязать их с предвоенным временем — чем сильнее и тревожнее было ожидание войны в 30-е гг., тем масштабнее становились «чистки» общества, расширение целевых групп этих «чисток», наконец, перерастание репрессий в Большой террор. «Холодная война» 50–70-х превратилась в предлог и для гонки вооружений, и «закручивания гаек» в обществе, и преследования инакомыслящих.

Со Второй мировой войной связано и изменение природы военных преступлений, особенно против гражданского населения. Для вермахта планируемая жестокость, режим ограбления и террора представляли собой определённую систему, которая заранее предусматривалась и поощрялась германским правительством. Красная Армия не получала директив об истребительной войне, не было и жестких намерений уничтожать немецкое гражданское население как низшую и неполноценную расу, однако сами по себе действия оккупантов на советской территории и огромные жертвы, понесенные советскими людьми за годы войны, преопределили распространение в армии чувств ожесточения, ненависти и жажды мести. Усиливала эти настроения — неизбежные в наступавшей армии, которая своими глазами видела «результаты» оккупационной политики, — и официальная пропаганда.

В рассуждениях о методах тотальной войны нельзя обходить вниманием и вопрос о «другом холокосте», который имел ещё большие масштабы, чем геноцид евреев. Не хотелось бы, чтобы оставалось незамеченным замечание известного немецкого историка Вольфганга Ветте о том, что «число тех советских граждан-славян, гибель которых — вне поля боя — была или намеренно организована, или с одобрением воспринята немцами, вероятно, значительно выше, чем число систематически уничтоженных евреев... Мы признали свою вину за холокост, но не хотим сделать этого по отношению к другому холокосту».

В-третьих, история России демонстрирует весьма парадоксальные случаи восприятия и осуществления тотального контроля — с одной стороны, срывов в «чрезвычайщину» (июнь–октябрь 1941 г., июль 1942 г.), а с другой — либерализации режима.

К примеру, вопреки со стандартной логикой тотальной войны имело место освобождение из лагерей политических репрессированных (1941, 1942 гг.). Военным советам фронтов было предоставлено право снимать судимость с военнослужащих, отличившихся в боях с немецкими захватчиками. Понимание того, что тотальный контроль в экономике ведёт к заметному снижению её эффективности заста-

вило обращаться к нестандартным ходам — временному снятию идеологического «табу», к примеру, на критерий прибыли в оценке работы военных предприятий, установлению заданий по общей себестоимости изделий и др. Вообще, сталинский режим вынужденно ставил себя в рамки нормального для условий войны государства. Война для России несла не только горе и лишения, но и распрявление народа. На грани истребления, уничтожения его как нации инстинкт самосохранения заработал совсем по-другому, нежели перед войной: не рабское исполнение приказа, а сознательный выбор по его исполнению, не покорное молчание по поводу неграмотных решений, а протест.

В-четвёртых, об особенностях той или иной войны любопытно судить по исторической памяти. Многие исследования показывают, что если, к примеру, после Первой мировой, быть может, война и воспринималась как фактор нормализации жизни, то после Второй мировой, затронувшей все сферы жизни людей, война постепенно вытесняется на периферию, идея войны уступает место идее мира, которая становится почти нормативной.

ШТИГФЁРСТЕР

Я очень рад тому, что мой доклад вызвал такой большой интерес. Дискуссия задела многие важные аспекты. Я попытаюсь по возможности ответить на все аргументы, для чего объединю выступления в дискуссии в четыре пункта.

1. По поводу понятия «тотальная война»: выражение впервые появилось во французской прессе в 1916 г. Тогда, несомненно, это было пропагандистским лозунгом, служащим полной мобилизации на войну всех французских ресурсов.

Термин быстро сделал карьеру. Прежде всего, в 20-е гг. он играл большую роль в международных дебатах о прошедшей войне и о войне будущего. Эти дебаты продолжились в 30-е гг. Во время Второй мировой войны понятие использовалось и как инструмент пропаганды, и как средство осмысления событий, произошедших между 1939 и 1945 гг. При этом понятие никогда точно не определялось и оставалось удивительно неясным. Чаще всего под ним подразумевалась прежде всего тотальная мобилизация (Людендорф, Геббельс, Черчилль). Впрочем, во время Второй мировой войны играло роль также представление о допустимости неограниченного применения отныне любых средств. Правда, здесь я должен сделать оговорку, что я не знаю, получил ли распространение — и в какой степени — этот термин в Советском Союзе периода сталинизма. Об этом я с удовольствием хотел бы больше узнать у специалистов.

После Второй мировой войны термин всё более входил в научный оборот. Он получил широкое распространение без более детального анализа. Из-за этого и началась наша серия конференций. Более десятилетия мы занимались этой темой. И хотя в результате мы не получили точной дефиниции, но нам удалось вывести некий идеальный тип, компоненты которого поддаются более или менее точному определению, и теперь с этим можно работать. При этом важными представляются как международные сравнения, так и ограниченные национальными рамками детализированные исследования. В то же время, не следует упускать из виду и междисциплинарный подход. Как сформулировал мой друг и соорганизатор серии, Роджер Чикеринг, «тотальная война требует тотальной истории».

2. История тотальной войны: ясно, что термин родился в эпоху мировых войн XX в. Здесь он и находит своё непосредственное применение. Именно эти технизированные массовые войны, в конце концов, сделали возможным пугающе близкое приближение к идеальному типу. Тем не менее, сам феномен имеет предысторию, уходящую корнями в поздний XVIII в. Войны Французской революции и Наполеона, а также Гражданская война в Америке явственно демонстрируют тенденции в направлении тотализации. Нужно проанализировать эти структуры, чтобы понять происхождение проблемы.

Профессор Хауманн (Базель) прав, что и более ранние войны тоже не церемонились с гражданским населением. Да, гражданское население ещё в древности часто становилось мишенью войны. В этом смысле можно даже утверждать, что войны каменного века вообще были самыми тотальными (см. *Lawrence H. Keeley. War before Civilization. The Myth of the Peaceful Savage. New York, 1996*). Однако тотальная война в современном смысле слова стоит в непосредственной связи с развитием общества, основанного на разделении труда, с одной стороны, и с государственностью — с другой. Особенно важной предпосылкой, делающей тотальную войну возможной, является складывание государственной монополии на применение насилия — процесс, который начался со второй половины XVII в. Тотальная война современности как раз означает полный государственный контроль над экономикой и обществом во имя ведения войны.

Другую сторону медали представляет собой попытка ввести определённые правила в ведение войны между «цивилизованными» государствами и тем самым прежде всего защитить гражданское население. Именно этой цели служили такие международные договоренности, как Женевская и Гагская конвенции. То, что, несмотря на это война в XX в. вышла за всякие рамки, является существенным показателем её тотализации.

Более основательного обсуждения заслуживает гипотеза о том, возможно ли научно связать тотальную войну со спорной теорией тоталитаризма. Мне это кажется сомнительным, тем более что сама эта теория содержит много неясностей. Кроме того, нужно иметь в виду, что именно такие нетоталитарные системы, как британская, во время Второй мировой войны в большой степени приблизились к модели тотальной войны. Нацистская же Германия, напротив, вплоть до 1944 г. избегала такого шага к тотальной войне как тотальная мобилизация.

3. Культурная история тотальной войны: мне кажется опасным интерпретировать тотальную войну как столкновение культур, как это делает г-жа Черепанова. Соответствующий аргумент Самуэля Хантингтона уже принес достаточно вреда. К тому же, только нацистская пропаганда представляла нападение на СССР как культурный конфликт. Именно этим оправдывалась война на уничтожение. Кроме того, эта война на уничтожение не была тотальной войной в том смысле, что нацистское руководство лишь в момент поражения — т. е. после Сталинграда — вообще задумалось о тотальной мобилизации. Впрочем, ведение войны западными союзниками против Германии было не менее жестоким, чем против Японии. Если бы Красная Армия не захватила Берлин, атомное оружие было бы использовано против Германии, для этого оно и создавалось.

В целом, тенденцию к тотальной войне следует рассматривать как структурный феномен, который в принципе не зависит от системы. Этой тенденции следовали как демократии, так и диктатуры. Отсюда вытекает необходимость исследовать общие структурные особенности массовых индустриальных обществ на фоне государственного ведения войны с конца XIX в. Здесь ещё многое нужно сделать, и российская история должна при этом играть центральную роль.

4. Гражданские войны: эти войны представляют собой феномены особого рода. Часто они особенно жестоки, тем более что рушится государственный порядок, и почти все правила утрачивают силу. Поскольку в проблеме тотальной войны именно государственность играет особую роль, представляется, что гражданские войны не вполне вписываются в этот контекст. Но эта видимость обманчива. Некоторые гражданские войны длятся чрезвычайно долго, и на их протяжении обе стороны создают новую государственность. В определённой степени так было в Гражданской войне в Испании. Но больше всего это касается американской Гражданской войны. Хотя «Confederate States of America» никогда не признавались Севером, с пленными южанами обращались не как с предателями — они получили статус комбатантов. Вообще-то на Юге сложились достаточно

действенные государственные (и демократические) структуры, которые сделали возможным 4-хлетнее ведение межгосударственной войны по правилам. Для гражданской войны в России, начавшейся в 1918 г. подобное, видимо, утверждать невозможно.

В целом, в этой сфере есть большая нужда в продолжении дискуссий. Это же касается и феномена партизанской войны. Но в таком случае мы рискуем вступить в дебаты об ассиметричных войнах, которые уведут нас от тотальной войны к войнам современности.

Надеюсь, что эти разъяснения окажутся полезными, и в любом случае, я с радостью ожидаю сентябрьской дискуссии в Челябинске.

Оксана НАГОРНАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЛЕНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И СРЕДСТВО ГРУППОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ¹

В последние несколько лет одной из центральных тем в исследованиях невоенных аспектов Первой мировой войны является вопрос об усвоении и использовании властью и обществом опыта тотальной войны в качестве модели контроля и дисциплинирования отдельных групп и социума в целом (2). Причём речь идёт не только о реализованной в ходе войны тотальной мобилизации ресурсов фронта и тыла, а также ставшей массовым явлением системе принудительного труда, но и о тотальном характере контроля над общественным мнением, проявившимся в цензуре переживаний и воспоминаний о войне.

В данном докладе на примере общественной дискуссии по проблемам военного плена будут проанализированы процессы коммуникации властных институтов и социальных групп, формировавших в России структуры коллективной памяти о войне. В первой части речь пойдет о решающей инстанции в политике обсуждения, фильтрации и использования воспоминаний, в качестве которой были определены сменяющие друг друга правительства, пытавшиеся оказывать влияние на усвоение опыта мировой войны с целью легитимации государственных действий. Образцы интерпретации переживаний и превращения их в структуры коллективной памяти транслировались не только со стороны власти, но и со стороны определённых социальных групп, стремившихся перевести символический капитал памяти в капитал социальный. Данные механизмы будут проанализированы на примере мемуаров русских военнопленных, бежавших или вернувшихся из плена в ходе обмена и репатриации. Кроме того, рассмотрение мемуаров русских военнопленных Первой мировой войны как неотъемлемой части и результата властного и группового дискурса будет способствовать более критичному использованию их в качестве источника по истории военного плена (3).

ВЛАСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ

В сравнении с другими европейскими странами, вступившими в Первую мировую войну, Россия обладала наименее развитой политической и экономической организацией и неподготовленными к условиям тотальной войны институтами мобилизации. Если в июльские дни 1914 г. в обеих столицах сложился хрупкий патриотический консенсус, то первые поражения в Восточной Пруссии и отступление 1915 г. показали ограниченную силу сопротивления русских солдат на фронте, а конкуренция между государством и обществом по поводу оптимизации ведения войны быстро разрушила структуры гражданского мира в тылу (4). Необходимость легитимации нового уровня насилия и контроля вызвала к жизни процесс коммуницирования государства и общества, который должен был удовлетворить возросшую в экстремальной ситуации потребность в выработке образцов толкования целей войны, её длительности и жертв (5).

После первых крупных военных поражений русское правительство попыталось скрыть от общественности на фронте и в тылу истинный масштаб потерь, что не в последнюю очередь проявилось в запрете на публикацию не только численности попавших в плен, но и на употребление самого понятия «русский военнопленный» в прессе и в официальном делопроизводстве. К печати допускались только цифры захваченных в плен солдат и офицеров неприятельской армии, свидетельствовавшие о победах русского оружия, и парадные описания их содержания в тылу (6) как доказательство выполнения Россией постановлений Гаагской конвенции.

Однако, замалчивание истинного положения военнопленных на территории центральных держав стало причиной распространения среди русских солдат представления о плене как лучшей доле, что увеличило случаи массовой добровольной сдачи. В подобной ситуации власть была вынуждена инициировать дискуссию о плене, предъявив, однако, жесткие требования к публикуемым мемуарам: на суд читателя выносились только отрицательные воспоминания об условиях содержания в германских лагерях, трезвые же оценки зависимости состояния пленных от экономической ситуации в самих центральных державах подвергались неумолимому вытеснению. По воспоминаниям одного из ведущих деятелей Московского городского комитета помощи военнопленным Н. Жданова, военная цензура

не пропускала в Россию даже групповых фотографических снимков военнопленных, разрешая вырезать изображения отдельных лиц и пересылать их по адресам родственников. Мотивировалось это тем, что групповые снимки иногда производят впечатление благоприятных условий содержания в плену (7).

В 1915 г. в России, по примеру стран-союзниц, была создана Чрезвычайная следственная комиссия под руководством сенатора Кривцова, призванная расследовать случаи нарушения законов войны со стороны центральных держав и повсеместно распространять сведения о своей деятельности. В здании комиссии в Петербурге был организован музей (8), значительную часть экспозиции которого помимо доказательств применения немцами разрывных пуль составляли материальные свидетельства ужасов плена: «бурда» вместо кофе, так называемый немецкий «военный хлеб», выпеченный из смеси низкосортной муки с добавлением картофеля, изображения издевательств над пленными, в том числе священниками и т. д. Здесь же собирались и тщательно расследовались свидетельства и воспоминания, касающиеся плена. Издания Следственной комиссии «Наши враги» регулярно выходили значительными тиражами и в обязательном порядке распространялись в воинских частях и в тылу (9).

Одной из главных проблем при легитимации целей войны и формировании образа врага, с которой столкнулись власть и общество в России с началом войны, стала необходимость избавления от комплекса собственной неполноценности по отношению к немцам, на протяжении многих десятилетий определявшихся в качестве образца для подражания во всех сферах государственной и общественной жизни. Для того, чтобы преодолеть миф о непобедимости германской государственной машины, нужно было дискредитировать немцев как носителей культуры и наделить их нечеловеческими варварскими чертами. Подобное ужесточение образа врага должно было способствовать интеграции всех общественных групп и повышению боеспособности солдат на фронте.

Многочисленные воспоминания о жестокостях, творимых немецкими и австрийскими войсками по отношению к русским пленным, должны были убедить российскую общественность, что в «стране поэтов и мыслителей» оказываются возможными безобразные явления (10). Настоящими чертами, присущими всем германским военным, объявлялись грубость, надменность и тупая самоуверенность. Прусские офицеры, истязавшие не только неприятельских, но и собственных солдат, были представлены «точно живые иллюстрации к той картине прусско-германского милитаризма, которая многим ... была известна понаслышке» (11). Особо подчёркивался

феодално-абсолютистский характер германского государства, что позволяло выделить его из сообщества союзных России западных стран и лишить статуса образца экономического и политического устройства. Ниспровержение прежних идеалов логично завершалось самовозвышением: «золотое время расцвета духовной жизни Германии ушло и вряд ли вернется. Мы же богаты именно теми свойствами русской души и сердца, которые служат залогом богатой культуры духовной, а культура внешняя у нас не за горами» (12). Ибо, как утверждали сестры милосердия, «нигде так, как в плену, мы не чувствовали так сильно наше превосходство над воинственными пруссаками» (13).

Одновременно с картинами лишений и издевательств, ожидавшими в плену, пропаганда настойчиво распространяла образцы поведения, которым должен был следовать попавший в руки врага русский солдат и офицер. Так, все русские издания в октябре 1915 г. обошло известие, что «...за упорный, несмотря на целый ряд мучений, отказ всей партии [пленных] рыть окопы для неприятеля, были расстреляны четыре человека, которые по показаниям опрошенных умерли героями. Всякие попытки... разбивались о непоколебимую твердость и верность присяге русского солдата». В формирование поведенческих шаблонов активно включилась церковь, регулярно публиковавшая определения Синода о поминовении и увековечении памяти пленных героев-воинов (14), в том числе и в родных приходах. В многочисленных заметках, публиковавшихся с завидной регулярностью, рефреном звучал лозунг: «Лучше смерть — чем плен». Кроме того, представители прессы констатировали решимость пленных немедленно отправиться на передовую и отомстить врагу за себя и своих товарищей (15).

Транслировавшийся в воспоминаниях образ пленного русского солдата-мученика, который в значительной степени страдал от неспособности и нежелания собственного правительства организовать действенную помощь, оказал двойственное влияние на тыловую общественность. Наряду с хаотичным сбором посылок и денег на имя общественных и государственных организаций возник целый поток требований ухудшить условия содержания вражеских военнопленных в России и ужесточить репрессии по отношению к ним.

Временное правительство, в состав которого вошли ведущие деятели общественных организаций, попыталось скоординировать деятельность общественных и государственных структур помощи русским военнопленным и развернуть масштабную агитацию среди самих военнопленных с целью привить им лояльность по отношению к новому порядку. При существовании опасной перспективы

возвращения в страну значительного контингента исстрадавшихся и озлобленных солдат и офицеров пропаганда легитимировала новую власть через противопоставление неудачам старого режима: «Кончится эта страшная война, вернется наш военнопленный домой в обновленную переустроенную Россию... Он увидит, что на России новой не лежит греха России старой, бесславно сгинувшей. Но ещё нежнее полюбит Россию новую, и за то малое, что она смогла сделать для военнопленных» (16).

В общественной дискуссии образ страданий военнопленных также приобрел новые грани, и стал выполнять более разнообразные функции. Глава правительства князь Львов лично приветствовал группы вернувшихся из плена врачей и инвалидов и предлагал им более широко оповещать русское общество о жестокостях германского плена в целях пропаганды наступления (17), стимулируя создание воспоминаний в определённом идеологическом ключе.

Настрой публикаций и преамбулы к воспоминаниям бежавших и вернувшихся, публикуемые в этот период, свидетельствуют об изменении образцов восприятия и толкования плена. Из прессы исчезли постоянно присутствовавшие ранее уверения об истощенной немецкой экономике и о готовых к добровольной сдаче изголодавшихся жителях: рассказы вернувшихся должны были не вселять в общество возможность быстрой победы над более развитым противником, а настроить на длительное и требующее невероятных материальных и человеческих затрат противостояние.

Публикация воспоминаний военнопленных была направлена также на дискредитацию идеи сепаратного мира в противовес все более явственно звучащим общественным настроениям. Именно подобное окончание войны, по свидетельствам вернувшихся, «являлось... навязчивой идеей для всех германцев. Это единственная тема разговора с русскими военнопленными...» (18). Кроме того, тематизация жестокого обращения немцев с пленными должна была предотвратить явление массового братания на фронте, ведь «если бы враги стали братьями, они могли бы доказать это лучшим обращением с нашими измученными и истерзанными братьями — военнопленными» (19).

После Октябрьской революции, несмотря на господствовавший в стране организационный хаос, большевистское правительство всеми силами стремилось поставить под контроль первую волну (конец 1918 — первая половина 1919 г.) стихийно возвращавшихся военнопленных. Новая власть ожидала, что происходившие из крестьянской и рабочей среды военнопленные смогут под воздействием собственного опыта и массовой агитации приобрести правильное

классовое сознание. Вторая волна (1920–1922 г.) возвращалась в Россию в заключительный период Гражданской войны, что придавало процессу репатриации политические и военные функции. Интеграция бывших военнопленных была передана в ведение НКВД, попытавшегося навязать вернувшимся сформулированное партийными и государственными структурами толкование мировой войны и плена. Огосударствление общественных организаций и общественной дискуссии способствовало оккупации личных воспоминаний (20) и стиранию противоречий между индивидуальными переживаниями и общественными установками. Примечательно, что воспоминания военнопленных стали неотъемлемым элементом властного дискурса об Октябрьской революции и подлежали записи и публикации в журнале «Пролетарская революция» наряду с мемуарами непосредственных участников событий в Петрограде и Москве (21). Перед публикацией воспоминания подвергались тщательному отбору, а содержащие несоответствующие утверждения (например, что Брестский мир не улучшил положения военнопленных) объявлялись «не представляющими партийного и политического значения» (22).

Сборники воспоминаний, выпущенные к десятилетнему юбилею мировой «империалистической» войны и позже, представляли плен как путь к атеизму и революции (23). Примечательно также, что редакция не использовала материалы, опубликованные ранее: бывшие пленные «вспоминали» по заказу. В качестве авторов были выбраны дореволюционные партийцы и рядовые участники мировой войны, «прошедшие большой путь от добровольца старой царской армии до убежденного и стойкого красноармейца». Воспоминания последних позволяли чётко проследить «весь трудный и мучительный путь, которым терпеливый (до поры) царский солдат шёл к революции» (24). Под господствующий образец толкования были перетрактованы также визуальные свидетельства. Например, фотография, изображающая обмен или торговлю русского мирного населения с австрийскими военнопленными через колючую проволоку, представлялась как свидетельство братания в плену (25). Таким образом, из первоначально многослойной среды воспоминаний в процессе институциональной обработки были вытеснены и исключены неудобные, а подходящие под господствующий образец были возведены в форму шаблона.

ВОСПОМИНАНИЯ РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ КАК СРЕДСТВО ГРУППОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Русские военнопленные представляли собой достаточно многочисленную (около 2,5 млн. солдат и офицеров) и в силу своего опыта совершенно особую группу русского общества в период Первой мировой войны. Даже после масштабного освещения в прессе нечеловеческих унижений, которым пленные подвергались в лагерях центральных держав, в государственных и некоторых общественных структурах они продолжали восприниматься как подозрительные элементы, не выполнившие своего долга перед родиной. Поэтому публикация мемуаров и встраивание в транслируемые существующим режимом образцы толкования представляли этой маргинальной группе возможность избавиться от стигмы предателей.

Несомненно, культура памяти о Первой мировой войне в России в сравнении с другими европейскими странами представляется менее развитой (26), однако прошедшие цензуру воспоминания военнопленных позволяют реконструировать, каким образом переживания нового типа войны были превращены в структуры коммуникативной памяти. При оформлении непосредственных переживаний военного плена в мемуары, они вынужденно проходили двойной фильтр групповой и государственной цензуры. Преследуемые социальной группой и отдельными индивидами цели вызвали к жизни процессы перетолкования прошлого, а также фабрикацию и гармонизацию воспоминаний в соответствии с ним. Значимые ранее события и лица были забыты, действительные переживания вытеснены с целью объективирования и усвоения навязываемых шаблонов интерпретации произошедших событий (27).

Открытой мотивацией для публикации собственных воспоминаний представлялось поручение товарищей, оставшихся в плену и желавших, «чтобы на родине знали правду о германском плене: они ещё надеются на помощь и заступничество» (28). Однако помимо чувства вины перед оставшимися за колючей проволокой прослеживается попытка оправдать своё пребывание в плену и работу на вражеское государство: «Наверное, у многих возникнет недоуменный и недружелюбный вопрос: «Зачем же пленные работали на врага? Ведь без их работы Германия не могла бы ни дня продолжать войну!» Кто захочет вдуматься в душевное состояние человека, униженного и забитого так, как забиты русские пленные в Германии, тот найдёт ответ» (29).

Для избавления от стигмы предателей воспоминания, опубликованные при Временном правительстве, использовали распространенное в общественной дискуссии средство — обвинение прежней власти: «Чтобы наглядно себе представить атмосферу германского плена, вспомните наш старый полицейский режим». Представляя себя носителями одинакового для всего русского общества опыта, военнопленные пытались преодолеть сегрегацию маргинальной группы: «в прошлом у него — темная жизнь раба и застарелое наследственное недовольство... он просто тёмный обездоленный человек, которого тащат то в участок, то на арену мировой борьбы» (30). В этот период данные конструкции ещё требовали дополнительного подкрепления, в качестве которого был использован утвержденный государством образ нечеловеческих страданий пленных. В мемуары была внесена существенная корректировка: страдания не были бесцельными, так как это были жертвы во имя родины. «Нас несколько лет не только называли свиньями, но и относились как к свиньям... Нас держали в беспрестанном страхе, не давая ни минуты быть спокойным за свою жизнь, каждый, кто приближался к нам, оплевывал и высмеивал нашу родину для того, чтобы ещё беспросветнее давило на нас ярмо плена — добивались этого голодом, побоями, страхом и унижениями» (31).

После Октябрьской революции вернувшиеся из плена использовали для своей реабилитации более простые и легко воспринимаемые обществом и властью образы. Согласно новой интерпретации, в процессе принудительного труда пленным раньше всех суждено было испытать на себе, что патриотизм немцев являлся лишь фасадом, скрывавшим истинные цели и намерения германского империализма. Привлеченные к принудительному труду, они работали на эксплуататоров, желающих «высосать из каждого пленного все соки для обогащения себя за счёт даровой силы» (32). Мемуары позиционировали военнопленных не столько как жертв прежнего режима, сколько в большей степени как самых непосредственных участников революции: «Нас отправляли на убийство... и смерть за наших угнетателей, за проклятый строй, который три года спустя те из нас, кто остался в живых, разрушили» (33). Принудительный труд был окончательно перетрактован из вынужденного действия в подвиг, так как именно он позволил пленным стать проводниками идеи мировой революции: «работа военнопленных на заводах и в селах среди австрийского крестьянства, а также общение с солдатами австрийской армии пустили глубокие корни революции в австрийскую почву» (34).

Одной из форм самооправдания собственной пассивности и «негероичности» поступков стал поиск такой категории пленных,

которые совершили добровольное, а значит, ещё большее предательство по отношению к родине и к своим товарищам по несчастью. Эта роль в воспоминаниях автоматически была приписана лагерным переводчикам, большинство которых в силу знания языка выбирались из пленных еврейского происхождения. Образ евреев как предателей и шпионов уже был заложен в общественном сознании и способствовал удобной редукции реальности: «Германское начальство старалось перетянуть на свою сторону часть пленных, и при их помощи управлять другой. К ним относились человечнее, и некоторые попались на удочку, стали надсмотрщиками... То же нужно сказать и про многих переводчиков, бесстыдно обиравших своих товарищей» (35).

Прослеживается четкая зависимость трактовки евреев как предателей и основных виновников страданий пленных в лагерях от режима, при котором были опубликованы мемуары. Однозначно высказывались пленные, «вспоминавшие» в период Царского и Временного правительств. Мемуары же более позднего периода, с оглядкой на интернациональные лозунги революции и происхождение её ведущих вождей, более осторожно утверждали, что только «непонимающим этой хитрой механики, действительно, казалось, что в плену командовали всем евреи» (36). Некоторые даже рефлексировали антисемитизм как принадлежность прежнего строя: «Вместе с отступающей армией позорным шквалом неся по селам еврейский погром. Командование всю вину сваливало на евреев... клевета зачитывалась в приказах... К этому привыкли как к молебнам. Знали, раз евреи — дела плохи» (37). Место евреев как предателей и виновников всех бедствий в воспоминаниях советского периода заняли унтер-офицеры и фельдфебели, служившие в низшей лагерной администрации. Причём выражения, использовавшиеся по отношению к первым, остались неизменными. Младшие офицеры характеризуются как люди, «готовые продать своих» и «оказывавшие австрийцам немалую помощь» (38).

В воспоминаниях, опубликованных в эмиграции, антисемитские пароли напротив оставались неотъемлемым элементом объясняющего повествования: «Евреи-переводчики, евреи-заведующие партиями — это было одним их самых тяжёлых бытовых явлений плена. Они контролировали почту, доносили на строптивых» (39).

В мемуарах военнопленных, созданных при Советской власти, плен представлялся особой временно; й и пространственной структурой, где в силу объективных условий процессы становления революционного сознания проходили гораздо быстрее, чем в самой России: «То, что имело место в России и на фронте в марте 1917 г., то в

миниатюре разыгралось в плену задолго до февральской революции» (40). Этому способствовало различие в содержании солдат и офицеров (41), что, по воспоминаниям очевидцев, очень быстро привело к усилению классового неравенства (42). Даже солдатская среда не осталась в стороне от процессов социального расслоения, так как плен выделил из неё «зажиточных людей, которые получали деньги и посылки с родины» (43).

Согласно воспоминаниям советского периода, Февральская революция только углубила непреодолимую классовую пропасть и превратила её в открытую вражду, несмотря на попытки «некоторых офицеров стать социал-демократами, заигрывать с солдатами и подделываться под народный говор» (44). Обладающие правильным сознанием рядовые пленные вскоре «отвернулись от нового правительства, перестали ему верить и стали его врагами» (45). Кроме того, согласно воспоминаниям, революция, произошедшая в далекой России, помогла пленным, которые не разбирались в тонкостях политических программ, на интуитивном уровне определить, какой партии отдать своё предпочтение. Так, население лагерей сразу же отвергло «ведущую себя задорно и глупо интеллигенцию», т. к. в её среде «было много болтунов, и в самом деле думавших, что большевики губят «свободную Россию», и их пафосные разговоры о поправленной демократии, о войне до конца звучали невыразимо пошло здесь, среди тысяч умирающих от голода и болезней людей» (46). Задолго до того, как социал-демократы доказали свою политическую несостоятельность в России, они дискредитировали себя в плену как борцы за идею и мужественные люди. В своих воспоминаниях К. Левин очень живописно рисует поведение типичного представителя данной партии при решении вопроса о досрочной отправке на родину. «Он нервничал ужасно, сжимал руки, глухо стонал и бегал, расспрашивал: отправят его или нет, — и плакал, и безнадежно прятал в колени чёрную голову» (47). Единственными настоящими людьми предстали перед военнопленными большевики, с которых «революция смыла ... подневольную чёрную копоть, униженный и несвободный вид» и которые казались «людьми из прекрасного мира» (48).

Прошедшие тяжелую школу сопротивления германскому империализму военнопленные были представлены общественности в Советской России не просто как революционеры, но как «большевистские агитаторы» (49), ведь именно с «их приездом обстановка политическая и революционная сложилась в пользу революции» (50). Стихийное бегство пленных на родину после объявления новой властью первых декретов описывалось не как стремление изголодавшейся

массы вернуться домой после многолетнего заключения, а как целенаправленное стремление «в Советскую Россию к упорной работе для рабочего класса» (51).

Радикальную переинтерпретацию с позиций классового подхода после Октябрьской революции претерпел образ врага. Жестокость немцев по отношению к пленным трактовалась как свидетельство определённой стадии исторического развития всего общества — «война сделала зверьми всех. Все народы находились под тяжёлой пятой империализма и теряли свой облик» (52). Бесчеловечное обращение германских военных с безоружным противником объяснялось проявлением классовых предрассудков: большинство офицеров были «настоящими немецкими патриотами», так как происходили из мелких помещиков (53). Мирное население, в порыве патриотизма унижавшее пленных, было отнесено к категории «озверевших немецких буржуа» (54).

Низшие слои германского населения были представлены в качестве жертв, которые «шли на войну по принуждению, не любили и боялись своих офицеров и не верили им» (55). Наивысшая классовая сознательность в воспоминаниях приписывалась германскому пролетариату, который якобы приветливо принимал русских пленных на заводах: «На работе под одним ярмом капиталистической эксплуатации мы стали одной рабочей семьей» (56). Логичным и соответствующим ленинским тезисам в мемуарах «пленных-партийцев» являлось обращение к образу немецких социал-демократов, которые с самого начала войны пошли на сговор с империалистическими правительственными кругами. В уста самих представителей этой партии вкладывается идея, что «социал-демократов в Германии уже нет» (57). Таким образом вина за развязывание войны перекладывалась с немецкого пролетариата на его бывших вождей, а единственным идейным вдохновителем рабочих признавались коммунисты.

Классическая схема классовой борьбы использовалась также при описаниях национальных противоречий в отношениях с военнопленными из армий бывших союзников: «Уже с лета 1915 г. пленные делились на две совершенно противоположные группы: имущих и неимущих, буржуев и пролетариев. Под буржуями подразумевались французы, англичане и бельгийцы, а под неимущими — русские» (58). В этом же ключе был объяснен сложившийся в годы войны стереотип о зверствах венгерских военных и мирного населения по отношению к русским пленным. После революции в России данный факт был представлен как последствия несостоятельной национальной и международной политики царского правительства: «как это ни странно, но венгры до сих пор не забыли 1848 г., когда солда-

ты Николая Палкина помогали заливать кровью восставшую против Австрии страну» (59).

Реальность тотальной войны и многолетнего пребывания за колючей проволокой неизбежно должна была отразиться на системе ценностей значительной массы военнопленных. Влияние длительного заключения на религиозность пленных в Первую мировую войну требует специального исследования, однако воспоминания позволяют проследить, когда и с какой целью русские военнопленные артикулировали свой религиозный опыт или выражали своё отношение к культу и церковным институтам.

Ещё в июле 1917 г. из уст военнопленных звучат религиозные толкования страданий в плену как «тьмы Египетской» и сравнение освобождения с воскресением в царстве Божьем: «Я раньше был в аду, но сейчас воскрес... ангелы прилетели, чтобы спасти нас из ада, где мы страдали о своих грехах!» (60). Сёстры милосердия в своих воспоминаниях также свидетельствовали о религиозных настроениях массы пленных и их стремлении облегчить душевные страдания обращением к вере и церкви (61). Кроме того, в переданных пленными обращениях на родину очень часто звучали просьбы, чтобы приехал «наш русский батюшка» (62).

После октября 1917 г. воспоминания представляют плен как путь не только к революции, но и к антирелигиозному сознанию. Само долгосрочное заключение, нечеловеческие страдания и жестокость окружающей действительности доказали пленным лживость религиозного учения, т. к. «против существования [Бога] вопили все камни на мостовой» (63). Опыт плена свидетельствовал также о несостоятельности вражды различных церковных учений, так как сами представители церкви легко шли на преодоление границ в порыве слепого патриотизма (64) или в случае необходимости. К. Левин с достаточной долей иронии описывал ситуацию обустройства религиозной практики в его лагере: «Оказалось, что все лучшие тенора в лагере были евреи, а басы — русские. ...[Священники] доказывали, что еврейский бог — это бог отец, то есть член коллегии — троицы, и потому евреям было разрешено петь в хоре... еврейские тенора славили Христа в церкви, а русские басы гудели славословия Иегове в лагерьной синагоге. К этому все привыкли, и религиозно-вокальный интернационал получил в лагере всеобщую санкцию» (65).

Более поздние воспоминания заимствовали и органично вписывали в своё повествование установившиеся при новом режиме определения и образы: «К морфию он привык и капризно требовал, чтобы ему делали впрыскивания каждый вечер. ...Кому морфий, а кому и молитва...» (66). В соответствии с определениями классового под-

хода, что на основе религии «зиждется господство буржуазии», пленные при Советской власти «вспоминали», что церкви в германских лагерях устраивались по инициативе унтер-офицеров, насильно загонявших солдат на службу (67). Не случайно солдаты игнорировали организованные офицерами празднования православной Пасхи, и вместо этого всей массой собрались на митинги, устроенные большевиками.

Несмотря на иные мотивы инструментализации опыта военного плена в среде русской военной эмиграции, на материале данных мемуаров можно отследить использование сходных мнемонических стратегий. Страдания и героизм пленных здесь тематизируются с целью мифологизации старой русской армии и утверждения определённой социальной группы, помещенной в чужую среду и нуждающейся в самоидентификации, как её части. Несомненно, и в этом случае противоречия индивидуальных переживаний должны были быть стерты через выработку и трансляцию определённых образов коллективной памяти.

Иначе, чем в советских воспоминаниях, мемуары эмигрантов рисуют отношения с союзниками, поддержка которых в смешанных лагерях способствовала снижению смертности среди русских военнопленных (68). К разряду устойчивых мифологем, положенных в основу трактовки опыта плена в эмиграции, относится представление о непобедимости и негибкости духа пленных в их верности Царю и Отечеству. Офицеры, по воспоминаниям, были готовы пожертвовать благосостоянием своих семей, чтобы не дать врагу возможность лишний раз убедиться в недееспособности российских государственных структур. Мемуары обращаются также к традиционному образу свободолюбивых казаков, в частях которых «плен по традиции считали не несчастьем, а позором, потому даже раненые казаки пытались бежать, чтобы смыть с себя позор плена» (69). Кроме того, при выстраивании структур памяти характерно замещение реальных событий уже существующими устойчивыми образами культурной памяти. Так, П. Краснов в своих мемуарах свидетельствует о попытках пленных отрубить себе пальцы, чтобы только не работать на врага и не совершить тем самым предательства против родины и союзников (70). Прямым прообразом данной мифологемы представляется созданная в период Отечественной войны 1812 г. и отраженная в русском искусстве легенда о крестьянине, отрубившем себе руку с клеймом Наполеона.



Таким образом, в сложившихся в России в ходе мирового конфликта условиях трансформации ментальных и ценностных структур формирование шаблонов восприятия и толкования происходящих событий, а также определение образов коллективной памяти стало весомым социальным и политическим капиталом, в борьбу за обладание которым вступили власть, группы и отдельные индивиды. Воспоминания о пребывании в плену противника и общественная дискуссия о русских военнопленных стали полем столкновения различных мнемонических стратегий. Сменявшие друг друга политические режимы стремились использовать процесс формирования коммуникативной памяти о плене для тотальной мобилизации общества, легитимации своих действий внутри страны и на международной арене и навязывания собственных образцов толкования происходящего. И если самодержавие не смогло использовать в полной мере механизмы и институты политики памяти, Временное правительство не успело в полной мере реализовать мероприятия мнемонического контроля, то большевикам, практиковавшим наиболее жесткие приемы при манипулировании и использовании коммуникативной памяти, удалось поставить процесс воспоминания под контроль и навязать своё толкование плена мировой войны.

Выявленный набор инструментов воздействия со стороны власти на процесс фильтрации и оформления воспоминаний о плене весьма разнообразен. Помимо традиционной цензуры к ним следует отнести массированную пропаганду как в лагерях, так и в России; обязательное для всех возвращающихся анкетирование, вопросы которого заостряли внимание на определённых составляющих проблемы военного плена и способствовали выстраиванию воспоминаний в соответствии с заданной логикой; встречи с представителями власти (Г. Львовым, Л. Троцким и др.), через которые военнопленные получали негласное прощение обмен на лояльность по отношению к режиму; централизованные сборы воспоминаний с заданной тематикой, например, к годовщинам Октябрьской революции, империалистической войны или для издания под грифом «Союза безбожников». Данный набор также наглядно иллюстрирует лидерство большевиков в использовании разнообразных техник при реализации политики памяти.

Что касается групповых фильтров при оформлении переживаний плена в воспоминания, то в этом процессе сами военнопленные принимали активное участие, пытаясь использовать возможность

публикации своих мемуаров в целях личной ресоциализации, групповой идентификации и преодоления стигмы предателей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Статья подготовлена при поддержке фонда Герды Хенкель, грант AZ 11/SR/03.
2. См., например: *Holquist P.* Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914–1921. — Cambridge, 2002; *Liulevicius V.G.* War land on the Eastern Front: culture, national identity and German occupation in World War I. — Cambridge, 2000.
3. См., например, *Мальков А.А.* Деятельность большевиков среди ВП русской армии (1915–1919). Казань, 1971; *Щеров И.П.* Миграционная политика в России, 1914–1922. Смоленск, 2000; и др.
4. См.: *Beyrau D.* Der Erste Weltkrieg als Bewährungsprobe. Bolschewistische Lernprozesse aus dem «imperialistischen» Krieg // *Journal of modern history*. 2003. №1. S.100–101.
5. Подробно о процессах коммуницирования военного опыта см.: *Buschmann N., Karl H.* Zugänge zur Erfahrungsgeschichte des Krieges. Forschung, Theorie, Fragestellung // *Buschmann N., Karl H.* Die Erfahrung des Krieges. Erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der Französischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg. — Paderborn, 2001. S.21.
6. См., например: *Шинкевич Е.* Отчёт члена, состоящего при Центральном справочном бюро о военнопленных Особого комитета помощи военнопленным по командировке в Омский военный округ для обследования степени нужды военнопленных Австро-венгерской армии. — Пг., 1915.
7. *Жданов Н.М.* Русские военнопленные в мировой войне. — М., 1920 (Труды военно-исторической комиссии). С.223.
8. См.: Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф.2003. Оп.2. Д.753. С.79.
9. См.: Наши враги. Обзор действий Чрезвычайной следственной комиссии. — Пг., 1916.
10. *Григорьев С.* Два месяца в германском плену. (Впечатления, наблюдения, выводы). — Одесса, 1914. С.4.
11. Там же. С.65.
12. Там же. С.3.
13. В германском плену. Записки сестер милосердия Е.Ч. и Н.К. — Петроград, 1915. С.59.
14. См.: РГВИА. Ф.2003. Оп.2. Д.753. Л.90. об.
15. *Навоев П.* Как живётся нашим пленным в Германии и Австро-Венгрии. — Пг., 1915; Русский инвалид. 1915. 7 ноября; Русские ведомости. 1917. 18 янв., и т. д.
16. См.: Русский военнопленный. Журнал издательства Московского городского комитета помощи русским военнопленным 1917 г. №1. С.1–2.
17. См.: *Жданов Н.* Русские военнопленные в мировую войну 1914–1918 гг. (Труды военно-исторической комиссии). — М., 1920. С.105; *Яблоновский А.* Страшная правда (в германском плену). — М., 1917. С.6.
18. *Шамурин Ю.И.* Два года в германском плену. — М., 1917. С.29.
19. *Яблоновский А.* Страшная правда (в германском плену). — М., 1917. С.3.

20. Более подробно о понятии оккупированных воспоминаний см.: *Hockerts H. Zugänge zur Zeitgeschichte: Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswissenschaft //Jarusch K. (Hg.). Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt.* — Frankfurt am Main, 2002. S.42–45.

21. См., например: *Кири Ю.* Октябрьские дни в плену //Пролетарская революция. 1922. №10. С.525–527, а также неопубликованные воспоминания, собранные в РГАСПИ. Ф.70. Оп.3. Д.410–415, 811, 812, 816–819, 822 и др.

22. См., РГАСПИ. Ф.70. Оп.3. Д.812.

23. См., например: Десятилетие мировой войны. Сборник статей. Под ред. М. Охитовича. — М., 1925; Десятилетие мировой войны (Материалы для агитаторов). — М., 1924, и т. д.

24. *Дмитриев В.* Добровolec. Воспоминания о войне и плене. — М.–Л., 1929. С.2.

25. См.: Десятилетие мировой войны. С.277.

26. См.: *Narskij I.* Kriegswirklichkeit und Kriegserfahrung russischer Soldaten an der russischen Westfront in den ersten beiden Kriegsjahren (в печати).

27. Более подробно см.: *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. — М., 1995. С.259.

28. *Шамурин Ю.* Указ. соч. С.1.

29. Там же. С.41.

30. Там же. С.42.

31. Там же. С.5.

32. Там же. С.54.

33. *Левин К.* Записки из плена. — М., 1930. С.39.

34. *Разгон И.* В австрийском плену //Десятилетие мировой войны. С.281.

35. *Шамурин Ю.* Указ. соч. С.14.

36. *Кири Ю.* Указ. соч. С.74.

37. *Дмитриев В.* Указ. соч. С.16.

38. *Левин К.* Записки из плена. С.42.

39. *Краснов П.Н.* Венок на могилу русского солдата. С.36.

40. *Разгон И.* Указ. соч. С.278.

41. См.: *Линов А.* Воспоминания рядового (из австрийского плена) /Десятилетие мировой войны. С.286.

42. См.: *Левин К.* Записки из плена. С.64.

43. *Левин К.* За колючей проволокой. — М., 1929. С.17.

44. *Разгон И.* Указ. соч. С.280.

45. *Левин К.* За колючей проволокой. С.24.

46. *Левин К.* Записки из плена. С.234.

47. Там же. С.238.

48. *Левин К.* За колючей проволокой. С.29–30.

49. *Кири Ю.* Под сапогом Вильгельма (из записок рядового военнопленного №4925) 1914–1918. — М.–Л., 1925. С.102.

50. *Разгон И.* Указ. соч. С.280.

51. *Линов А.* Указ. соч. С.286.

52. *Кири Ю.* Указ. соч. С.16.

53. Там же. С.39.

54. Там же. С.28.

55. *Левин К.* Записки из плена. С.4.

56. *Кири Ю.* Указ. соч. С.44.

57. Там же. С.25.
58. Там же. С.57.
59. *Левин К.* Записки из плена. С.26.
60. Русский военнопленный. 1917. №2.
61. *Тарасевич А.* Отчёт по обследованию лагерей и мест водворения русских военнопленных в Австрии и Венгрии. — М., 1917. С.10.
62. См.: *Шуберская Е.М.* Дневник командировки в Германию для осмотра русских военнопленных в июле–октябре 1916 г. — Пг., 1917. С.14; Отчёт сестры милосердия А.В. Романовой //Вестник Красного Креста. 1916. №6. С.2017.
63. *Кириш Ю.* Указ. соч. С.18.
64. *Левин К.* Записки из плена. С.20.
65. Там же. С.55.
66. Там же. С.237.
67. Там же. С.52; Разгон И. Указ. соч. С.278.
68. *Аскольдов А.* Память германского плена. — Прага, 1921.
69. *Краснов П.* Указ. соч. С.41.
70. Там же. С.44.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ

А л е к с а н д р Ф О К И Н

Первый вопрос касается концептуального подхода. В своём проекте автор ссылается на работы западных авторов, П. Холквиста и Л. Лиолевициуса. Рассматривают ли данные исследователи все страны, участвовавшие в Первой мировой, или только западные? Можно ли говорить о чём-то новом для России? Ведь традиции цензуры, в том числе и военной, в России были сильны и до 1914 г. Интересно, что принципиально нового было апробировано в ходе мировой войны? Также вызывает сомнения попытка провести аналогию между практиками царской России и страны Советов. Не кажется ли, что вместо того, чтобы воспользоваться старым военным опытом, большевики заново «изобрели велосипед»?

Второй вопрос касается некоторых фраз подобных этой: «...бывшие пленные “вспоминали” по заказу». Закавычиванием слова «вспоминали» намечается на фальсификацию воспоминаний властью?

Третий вопрос. Как отличить общие моменты в воспоминаниях различных людей от шаблонных установок? Если люди вспоминают одно и то же, следует ли считать это их собственными воспоминаниями или коллективной памятью?

Четвёртый вопрос вызван интересом к источниковой базе. Сколько из примерно двух миллионов пленных оставили свои воспоминания? Каково соотношение офицеров и солдат среди авторов? И вообще, используются ли иные критерии разделения воспоминаний, помимо принадлежности к разным политическим группам?

О к с а н а Н А Г О Р Н А Я

При ответе на первую часть первого вопроса я позволю себе сослаться к статье П. Холквиста, опубликованной на русском языке: *Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте* /Сб. Россия и Первая мировая война. СПб., 1999.

Согласна, что в России и до 1914 г. были сильны традиции цензуры. Однако в годы мировой войны имели место принципиально

иные явления: дисциплинирование и контроль были распространены фактически на все социальные группы и все сферы общественной жизни, в том числе и на коммуникативные структуры и воспоминания.

О восприимчивости большевиками опыта войны свидетельствуют многочисленные институты и комиссии по его изучению, сохранение ими созданных в период войны структур (в том числе принудительного труда и концлагерей), риторика выступлений и т. д.

В предложении «бывшие военнопленные “вспоминали” по заказу» речь идёт не столько о прямой фальсификации, сколько об изначальной заданности шаблонов воспоминаний. Создатели сборников к 10-летию войны инициировали процесс оформления военных переживаний в письменные воспоминания, что, несомненно, отразилось на выборе и содержании основных сюжетов в мемуарах бывших военнопленных.

Изучение субъективной реальности не предполагает оценивания высказываний актеров (в данном случае, военнопленных).

При разделении индивидуальных воспоминаний и коллективной памяти я основываюсь на методологическом подходе А. Ассманн, предложившей разделять следующие стадии перехода коммуникативной памяти в культурную: объективация — типизация — обезличивание — сохранение. Соответственно, в ходе конкретного исследования необходимо вычлнить в мемуарах следы общественной дискуссии, обращение к культурным кодам, стереотипам, устоявшимся образцам толкования и т. д.

При подготовке доклада были использованы только опубликованные воспоминания. Естественно, что их удельный вес в сравнении с западными странами достаточно невелик. Расширение источниковой базы возможно путем привлечения опросных листов, созданных органами Советской власти в процессе массовой репатриации. В целом эта группа источников насчитывает около 10 тыс. единиц и позволит в ходе сравнительного анализа выявить различия неоформленных переживаний и структур коллективной памяти.

Разумеется, возможно разделение авторов воспоминаний и по иным критериям, однако поставленные перед исследованием задачи значительно сужают и облегчают их выбор. Русские военнопленные представляли собой примерно одну половозрастную группу. Социальное происхождение, воинское звание и политические воззрения определяли для них возможность публикации мемуаров в разные периоды. Так, например, при царском правительстве печатались преимущественно воспоминания офицеров-инвалидов или врачей (та же социальная группа преобладала при публикации воспоминаний в эмиграции). Напротив, после Октябрьской революции воспо-

минания выходили из-под пера рядовых военнопленных, врачей, реже офицеров и специалистов, доказавших свою лояльность по отношению к новой власти.

А л е к с е й Б О Г О М О Л О В

Хотелось бы уточнить некоторые моменты, возможно оставшиеся за рамками доклада.

Источники, которые использовались — их обзор, группировка, представительность?

Категории «коммуникативной памяти» и «оккупированной памяти». Речь идёт о поколении современников и участников переживаемых событий, для которых, — в отличие от потомков, имеющих возможность усвоить эту память лишь через официальную культуру воспоминаний и образцы восприятия, — в первую очередь актуальны непосредственные переживания и воспоминания. Есть ли место в изучаемой Вами проблеме памяти индивидуальной? Где она? Как соотносится с официальными образцами толкования? Позволяют ли источники судить о моделях восприятия конкретных индивидов? Как использовали опыт плена сами бывшие военнопленные (а не власти, использовавшие их воспоминания)?

Я не нашёл попыток анализа памяти различных социальных или национальных групп и, собственно, общественной дискуссии по проблеме отношения к военнопленным, — речь лишь об образцах толкования, задаваемых сменяющими друг друга режимами (Российская империя — Временное правительство — ранняя Советская Россия). Мне кажется, это не то же самое, что образцы толкования, принятые в разных социальных группах и сосуществующие, конкурирующие в общественном поле.

Каковы критерии успеха того или иного режима («не смогло», «не успело», «удалось в полной мере») в деле контроля над воспоминаниями? Если критерий — вытеснение из информационного поля альтернативных образцов толкования, то те же воспоминания П.Н. Краснова свидетельствуют о наличии такой альтернативной модели — хотя бы в среде русской военной эмиграции. Была ли такая конкуренция образцов толкования в России? Удобным для сравнения был бы период гражданской войны, когда за власть сражались всё-таки больше чем два или три режима (предположительно, обладавшие и собственными моделями толкования), а в военных действиях на территории страны с разных сторон принимали участие десятки тысяч людей, имевших опыт плена (солдаты и офицеры Чехословацкого корпуса, военнопленные мадьяры и немцы, вернувшиеся из плена русские). Что значит «жесткие методы контроля»?

Замечание по сноске 19: на мой взгляд, интерпретация изменения толкования визуальных свидетельств не выглядит убедительно. Что имели в виду сфотографированные люди, как интерпретировал сцену фотограф (и зачем, собственно, был сделан снимок? Как доказательство чего-то — чего?). Действительно ли изменилась трактовка этого визуального свидетельства? И что такое братание в плену — включало ли оно в себя отношения обмена или торговли между подданными воюющих держав? Может статься, что и перетрактовки-то не было...

Оксана НАГОРНАЯ

Хотелось бы сразу оговорить, что представленный текст — лишь часть задуманного мной обширного исследования, посвящённого опыту русских военнопленных Первой мировой войны в Германии, проблемам репатриации, коммуницированию и усвоению этого опыта в России, в том числе властными и общественными институтами. Соответственно внимание акцентируется на трёх группах акторов: государственные структуры — общественные организации и общественность в широком смысле — русские военнопленные. Чтобы сохранить стройность структуры и избежать дисперсности работы, я сознательно не привлекаю материал по иностранным военнопленным в России, обращаясь к некоторым сюжетам со (противо) поставления для усиления тех или иных выводов.

В предложенном к обсуждению докладе рассматривается лишь один из моментов: формирование и использование воспоминаний о плене властными структурами и самими военнопленными. Таким образом, анализируются не только образцы толкования, транслированные властью, но и смена (в том числе и конкуренция) этих образцов внутри самой массы военнопленных. Поэтому вместо ответов на некоторые вопросы, я попрошу ещё раз перечитать пункт статьи, где анализируются мотивы апелляции военнопленных к своему опыту: преодоление стигмы предателей и маргинального характера сообщества, стремление к достижению общественных позиций, завоеванию социального капитала и личной выгоде. Признаю, что некоторые моменты, например, участие в процессе коммуницирования представителей общественных организаций, сестер милосердия и пр. остались за рамками данной статьи.

Источниковая база исследования в целом достаточно обширна (если не сказать огромна). Данный материал основан на опубликованных воспоминаниях русских военнопленных, ведомственной переписке государственных и общественных институтов, а также на итогах работы Комиссии по исследованию опыта мировой войны.

Незначительное количество опубликованных воспоминаний военнопленных ограничивает возможности их градации по предложенным критериям. Так, в мемуарах не прослеживается влияние национальной принадлежности на процессы формирования структур коллективной памяти, кроме того, в период Гражданской войны на территориях оппозиционных Советской власти правительств воспоминания военнопленных практически не публиковались и т. д.

Критерием успеха того или иного режима (социальной группы, индивида) в формировании структур коллективной памяти является степень гармонизации индивидуальных переживаний и заданных образцов толкования через вытеснение, забывание, навязывание определённых шаблонов. Воспоминания представителей русской военной эмиграции представляют собой альтернативу именно по отношению к структурам памяти о плене, сформированным в Советской России. Как раз это несовпадение свидетельствует об успехах большевиков. Под «жесткими методами контроля» я подразумеваю пристальное внимание власти к данной проблеме, оккупацию личных переживаний и безоговорочное пресечение конкурирующих воспоминаний, развертывание масштабной пропаганды и передачу контроля над носителями воспоминаний карательным структурам ВЧК и НКВД.

Наконец, интригующая фраза: «может статься...». Согласна, может, но при невозможности «полного вживания в действительность» исследователь имеет право на попытку собственной интерпретации, максимально используя материал источников. Под категорией братания в плену (а оно стало возможным только в 1917 г. в России и в ноябре 1918 г. в Германии) современники, а за ними и исследователи, относят появление представителей Советов в лагерях, объявление военнопленных братьями и роспуск лагерей. Источники не содержат свидетельств о трактовке обмена и торговли как братания. Кроме того, текст, к которому относилась данная фотография, позволил мне сделать предположение об использовании визуальных свидетельств для подкрепления навязываемых образцов толкования.

Д и т р и х Б А Й Р А У

В конечном счёте, речь идёт о политике памяти и о её коммуницировании, предполагая обращение к общественности или отдельным индивидам. То, что я нахожу в докладе, безусловно, является анализом политики памяти и того, как сами создававшие воспоминания, приспособлялись к соответствующему формальному и неформальному дискурсу власти, или к доминирующему дискурсу — и

как, вероятно, в нем участвовали. Однако неясно, какой резонанс имел этот дискурс в общественности: был ли он широким или вызывал интерес только у тех, те, кто занимался проблемой военнопленных и т. д.?

Х а й к о Х А У М А Н Н

Для западного читателя, возможно, следует уточнить истоки идеологии «русской души и сердца» (см. примечание 11) в пропаганде царского правительства. Было бы интересно узнать, как выглядели механизмы большевистской политики памяти. Происходило ли все стихийно, или существовали институты, развивавшие целенаправленную программу? Также, если большевики использовали жесткие средства при проведении своей политики памяти, все же достойно внимания, каким способом царское правительство пыталось управлять воспоминаниями. Я заинтригован, как в дальнейшем будут продвигаться исследования.

П а в е л К Р А С Н О В

Хотелось бы уточнить и прояснить ситуацию о характере сосуществования различных мнемонических стратегий по отношению к военнопленным. Как становится видно из доклада, их было всего четыре: стратегия времени самодержавия, Временных правительств, большевиков и эмигрантской среды. Однако, всегда ли данные мнемонические стратегии отрицали друг друга, конкурировали и боролись между собой, в конечном счете стремясь утвердить собственную монополию на истолкование опыта военного плена. В этой связи, на мой взгляд, было бы любопытно проследить условия, в которых эти стратегии создавались и функционировали. И с этой точки зрения их можно условно подразделить на две группы: имевшие яркую выраженность на практике (царская и большевистская Россия) и нереализованные в силу ряда исторических обстоятельств (Временное правительство и русская эмиграция). Для представителей первой группы, как это ни парадоксально, характерны одинаковые признаки:

Они проводились официальной властью для утверждения собственного видения и оценки происходивших событий среди максимального числа бывших военнопленных, а не представляли собой стихийную реакцию на оценку событий противоборствующей стороной;

Опирались на четкую и последовательную идеологическую базу и;

Имели более или менее развитый инструментарий воздействия на массовое сознание и корректировки опыта военного плена его непосредственных носителей.

Что же касается Временного правительства, то оно в своих трактовках и интерпретациях военного плена по сути дела не было самостоятельным и шло за более радикальной общественностью, которая стала утверждать свою мнемоническую стратегию после Октябрьского переворота (яркое тому подтверждение и обвинение прежнего режима, и образ страданий пленных во имя родины, продемонстрированные в докладе). А русская эмигрантская среда принялась за объяснение указанных событий в то время, когда их уже успели заменить и вытеснить более яркие и драматичные. Поэтому их образец формирования коллективной памяти был ничем иным, как реанимацией старых представлений в новых условиях необходимости ответа на вызов большевистской действительности.

Последнее, как мне видится, наглядно и весьма показательно демонстрирует процесс взаимовлияния различных образцов коллективной памяти друг на друга. Поэтому, если это возможно, проясните более отчетливо механизмы сосуществования различных мнемонических стратегий в условиях расколота национальной идентичности эпохи революции и Гражданской войны.

Оксана НАГОРНАЯ

Заданные вопросы в основном касаются методологических позиций исследований субъективной реальности. Отсюда и сомнения Александра Фокина в возможности отделения представлений автора от понимания ментальных процессов изучаемого периода, и вопрос Хайко Хаумана о существовании конкретных институтов, формирующих политику памяти и шаблоны воспоминаний. Сразу же отклоню обвинения в изначальной фальсификации исследовательской гипотезы, проявившейся якобы в изначальном определении воспоминаний советского периода как шаблонных.

Относительно сосуществования индивидуальных и групповых процессов позволю себе сослаться на более авторитетного теоретика — Н. Элиаса: «...переплетение [планов и действий отдельных людей (социальных групп, государственных институтов)] способно вызвать к жизни трансформации и преобразования, которые не планировались и не создавались намеренно... из данного переплетения возникает специфический порядок, наделенный большей принудительной силой и более могущественный, чем воля и сила отдельных людей, его созидających...».

Предложенная П. Красновым группировка стратегий памяти в свете моего исследования показалась интересной мне и даже продуктивной, а также мысль о сосуществовании, взаимовлиянии и конкуренции этих стратегий. Не согласна, что царский и большевист-

ский период идентичны. Всё-таки царскому правительству не удалось создать «чёткой и последовательной» идейной линии, которая бы основывалась на действенных образах и кодах.

А н д р е й Р О М А Н О В

Во-первых, в тексте дважды упомянуто о «стихийном возвращении» русских военнопленных на родину в 1918–22 гг. Сложно себе представить «стихийное» перемещение военнопленных по территории Германии, в таком случае и приезд Ленина в «пломбированном вагоне» можно также назвать стихийным возвращением. Возникает вопрос: в каком смысле возвращение из плена было стихийным? Стихийность начиналась в лагерях на территории Германии? Они получали свободу и толпами брели по территории бывшего противника? Если это так, то каким образом подобная стихийность влияла на опыт военнопленных и их воспоминания?

Во-вторых, сомнения вызывают частые рассуждения автора о «вытеснении» действительных переживаний. Насколько любые переживания «действительны» если они постоянно «перетолковываются»? Как можно, в таком случае, вообще оперировать категорией опыта? Получается что «опыт» превращается в неведомо каким образом действующие «правила забывания» и «реинтерпретации», а вторые, как ни странно, конструируются безличными госчиновниками разной идеологической ориентации, организующими процесс припоминания. В итоге весь огород «инструментализации опыта» сводится к идеологическим предпочтениям безликих чинуш, которые публикуют, цензурят, опрашивают бывших военнопленных, «заказывая» воспоминания. А вывод, вполне современный в 30–40-е гг. XX в., сводится к формуле: поймешь идеологию — поймёшь и опыт.

Воспоминания становятся таким обезличенным структурным эффектом господствующей идеологии, формирующей заказ на мнемоническую стратегию. Понятно, что любая власть желала бы, чтобы именно так дело и обстояло. Но если мы пытаемся «объективировать» мнемонические стратегии, то только ссылкой на удачу большевистской кампании припоминания не обойтись.

Автор заявляет о желании анализировать процесс коммуникации личности, властных институтов и социальных групп, но опирается при этом исключительно на воспоминания, которые сами по себе есть результат уже «случившейся коммуникации». Но где же «истории», которые рассказали бы о том, как был создан этот готовый акт коммуникации — воспоминания? Или, по крайней мере, где источники, которые бы указали на то, как и кем коммуникация конструировалась и кто этим занимался?

В проекте много дискурса, как в виде фрагментов воспоминаний, так и в виде заявлений автора о намерениях, представляющих схолярный дискурс о «культуре памяти». Но мало отношений, которые порождали как дискурс источника, так и авторский. Отношений между департаментами министерств, ведавших цензурой и между цензорами, которые «стригли» «письма с фронта». Нет отношений между солдатами и офицерами в плену, между русскими, евреями и хотя бы украинцами там же в плену. Между теми, кто вернулся из плена, и теми, кто туда не попадал, да и много чего ещё, что можно подразумевать под «коммуницированием». Схолярный дискурс о «мнемонической технике», «оккупации воспоминаний», (т. е. имеющий отношение к исследовательской стратегии, с которой автор себя идентифицирует) превращается автором в историческую реальность «коммуникации порождающей воспоминания».

Оксана НАГОРНАЯ

По поводу стихийного возвращения. В ответе на комментарии Участников дискуссии я уже упоминала, что в ходе стремительно развивающихся событий Ноябрьской революции в Германии и Австро-Венгрии представители местных Советов издавали распоряжения о расформировании лагерей и освобождении русских военнопленных, что вызвало массовое неорганизованное движение последних в сторону российской границы как по железной дороге, так и пешком (именно «толпами»). Это обстоятельство вызвало панику среди германских чиновников и требование возобновить лагерный режим содержания, что, однако, удалось сделать только после вмешательства Антанты. Советские власти не смогли взять под контроль стихийное перемещение голодных и больных масс через линию фронта. Реакцией большевиков стала обширная деятельность по формированию чрезвычайного законодательства, касающегося урегулирования данного вопроса (отсылаю Вас к Декретам Советской власти 1918–1919 гг.), а также создание структур Центроплембежа и Центроэваку, наделенных чрезвычайными полномочиями. Примечательно, например, что уже в условиях существования Восточного фронта Гражданской войны военнопленные-сибиряки получали право беспрепятственного продвижения на родину через фронт, несмотря на возможность их мобилизации в армию Колчака. Данные факты подтверждаются архивными документами всех сторон, что позволяет обозначить их как действительные переживания военнопленных, однако, в опубликованных воспоминаниях они абсолютно не отражены, что, по-моему, опять же работает на тезис о вытеснении определённых моментов в процессе коммуницирования опыта.

Ваши претензии, что вместо объективирования мнемонических стратегий я прикрываюсь восторгами об удачах большевистской кампании, сочту необоснованными. Во-первых, во второй части текста, где рассматривается мотивация самих военнопленных, отмечается, что в стремлении преодолеть травматический опыт, сегрегацию маргинальной группы и стигму предателей сами пленные были готовы работать на успех политики памяти любой легитимной власти. Во-вторых, речь идёт о разнице подходов в исследовании опыта и мнемонических стратегий. Отправной точкой моего исследования стали заметные несовпадения материалов архивов (как Вы их называете «действительных историй») и опубликованных воспоминаний (опять же в Вашем изложении «готовых актов коммуникации»), а также значительное расхождение внутри собрания самих воспоминаний, опубликованных в разные периоды. Соответственно я попыталась проинтерпретировать возможные причины этих расхождений с помощью категорий «коммуницирование опыта», «политика памяти», «вытеснение» и т. д. Постоянная переинтерпретация действительных переживаний, как мне видится, была обусловлена их пограничным характером, сложившимися в данный момент истории условиями коммуницирования и обезличивания. На мой взгляд, более интересен вопрос, инициированный профессором Байрау: какова репрезентативность коммуницирования опыта плена. Однако, объём накопленного материала не позволяет мне в настоящий момент на него ответить.

К сожалению, рамки интернет-публикации не позволяют мне остановиться на абсолютно всех аспектах проблематики военного плена. Ещё раз повторяюсь, что я планирую исследования взаимоотношений военнопленных разных национальностей, как в лагерях, так и в период репатриации. Дальнейшие исследования предполагают рассмотрение линий солдаты — офицеры, пленные — комендатура лагерей, пленные — сёстры милосердия. Разумеется в сферу моих интересов входит также изучение деятельности государственных и общественных структур, занимавшихся проблемой плена в период и после Первой мировой войны.

Н и к о л а й С Е Р Е Н Ч Е Н К О

Более всего меня заинтересовали те аспекты восприятия и генерации стереотипов (употребляю данный термин в нейтральном контексте) относительно Первой мировой войны и участия в ней Российской Империи, которые не нашли отражения в представленной работе. Речь идёт об общественных организациях, а если говорить ещё шире — об общественном мнении. И вот почему. Интерес

власти и военнопленных в создании удобных им «образов» войны вполне понятен: мобилизация общественного мнения, легитимация власти, социальная и общественно-политическое оправдание военнопленных и т. д. А вот как (и чем?) отвечала и, на мой взгляд, отвечает до сих пор российская общественность? Размышляя над этим вопросом, я, используя положения Вашей работы, сделал для себя несколько наблюдений.

Царское правительство: державно-патриотическая модель восприятия войны и демонический образ Германии, которая с минуты на минуту должна рухнуть.

Временное правительство: гражданско-патриотическая модель восприятия совмещается с критикой предшествующего режима. Германия: сильная экономика + трудолюбивый народ = война будет долгой и упорной.

Правительство большевиков: война из «священной» превращается в «империалистическую», интернационализм заменяет национализм. Сама же война и плен представляются кузницей революции и атеизма, каналом трансляции революционного сознания.

Таким образом, калейдоскоп смыслов, закрутившись в 1914 г. уже к 1917–1919 гг. предлагал общественности прямо противоположную (её изначальному смыслу) модель восприятия войны. Вопрос о характере их взаимоотношений (сосуществовали ли они, конкурировали или вытесняли друг друга) считаю важным, но не принципиальным. В конце концов, вытеснение одних смыслов другими не означает их ликвидации. На мой взгляд, они скорее сосуществовали. Ведь для того, чтобы уничтожить неудобную модель восприятия, стереть её из коллективной и уж тем более индивидуальной памяти, необходимо ликвидировать её источник: Временное правительство, белое движение, большевиков. И только потом браться за «лакировку» и «покрытие» общественного сознания нужными «узорами». Частично этого смогли добиться большевики («огосударствление общественных организаций и общественной дискуссии способствовала оккупации личных воспоминаний и стиранию противоречий между индивидуальными переживаниями и общественными установками»). Но это было потом. Пока же круговорот смыслов и стереотипов (появлявшихся друг за другом, противоречащих и взаимоисключающих друг друга) соответствовали общему экономическому, социальному, политическому и культурному хаотическому разложению. А что же общественность? Безусловно, она тоже участвовала в создании собственного смысла(-ов). Но ничего более конкретного сказать не могу, поскольку не владею материалом: в этой связи я с нетерпением жду продолжения Вашего проекта. Но

могу отметить следующее: образ Первой мировой войны и России (участвующей в этой войне) оказался перегружен смыслами, и перегружен до такой степени, что... А вот что там оказалось дальше мне трудно судить. По крайней мере, я могу проводить аналогии (понимаю всю условность и зыбкость этого приёма) со схожими случаями. Образ, задавленный и стеснённый множеством смыслов, мог их вообще лишиться (см.: *Эко У.* Записки на полях «Имени розы». СПб., 2003. С.7) или же начать самостоятельно их порождать, может быть, редуцировать (см.: *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С.38–39.) Вполне возможно, что общественность с какого-то момента стала воспринимать это как своего рода игру. Жестокую игру, навязанную многочисленными правительствами (имперским, Временным, белыми, советскими) революциями, Гражданской войной и суровой эпохой в целом. Отсюда проистекает недолговечность смыслов образа России в Первой мировой войне, уходящих вместе со скинутыми правительствами.

Наверное, это сыграло не последнюю роль в том, что каждый раз, когда речь заходит о Первой мировой войне и участии в ней России, в сознании появляются неясные и смутные тени. Должно быть, это призраки тех самых смыслов. Впрочем, вполне возможно, что мне это только кажется.

Д м и т р и й Т И М О Ф Е Е В

Сопоставительный анализ действительно наглядно демонстрирует наличие различных «шаблонов» воспоминаний о плене как в период нахождения у власти Временного правительства или при Советской власти, так и в эмиграции. При этом, на мой взгляд, не чётко прописаны механизмы и инструменты, с помощью которых власть инициировала процесс трансформации воспоминаний бывших военнопленных. Какие каналы трансляции желательных для власти стандартов оценок своего пребывания в плену использовали властные структуры?

Возможно, корректировка воспоминаний происходила в соответствии с представлениями бывших военнопленных о том, что в данный момент было, безопасно, а иногда и выгодно вспоминать. При этом, на мой взгляд, происходила не фальсификация воспоминаний, всего лишь акцентирование внимания на определённых сюжетах. Данный алгоритм позволял, как при составлении мозаики, из одних и тех же элементов составлять различные по своей смысловой и эмоциональной окрашенности тексты. Данное обстоятельство обусловливает сложность выявления каналов и инструментов целенаправленного и, главное, действенного влияния властных структур по

созданию желательных для себя воспоминаний. Мне представляется, что необходимо выявить общие настроения и оценки современников в отношении бывших военнопленных. Именно в соответствии с существовавшим уже эмоциональным фоном происходила мимикрия собственных воспоминаний, а не по чётко сформулированному приказу власти, которая, в изучаемое вами время, ещё не имела сколько-нибудь ясного представления о методиках манипулирования общественным мнением, а тем более воспоминаниями.

В связи со всем вышесказанным, на мой взгляд, целесообразно рассматривать процесс изменения содержания воспоминаний о плене не как результат «политики памяти», а как процесс трансформации образа собственного «Я» на фоне постоянно изменяющегося образа врага. Именно при сопоставлении образов «Свой» и «Чужой» или «Мы» и «Они» происходило осознание групповой самоидентификации. В данном контексте изменения в содержании воспоминаний можно интерпретировать как результат смены образа в начале войны, в период пребывания в плену и после освобождения (как в советской России, так и в эмиграции).

Т а м а р а Ш У К Ш И Н А

В докладе говорится о попытках военнопленных использовать возможность публикации своих мемуаров с целью личной ресоциализации. На мой взгляд, вопрос с ресоциализацией неоднозначен. Так, сформированные властью, особенно большевиков, представления о плене (революционность, атеизм) могли приходить в противоречие с общественными устоями, соответствие которым необходимо для ресоциализации в каком-либо локальном обществе. В связи с этим попытка преодоления стигмы предателей не осуществлялась и, наоборот, ситуация могла усугубляться.

Кроме того, мне хотелось бы получить разъяснения ещё по одному вопросу. В докладе говорится, что большевикам «удалось поставить процесс воспоминания под свой контроль и навязать своё толкование плена мировой войны». К каким конкретно группам относится это замечание? Кому из них это толкование было действительно навязано?

О л ь г а Н И К О Н О В А

Постановка проблемы кажется мне правомерной — рассмотреть трансформирующийся (в зависимости от правительства) господствующий дискурс по вопросу о плене и военнопленных и альтернативные (или конформистские?) дискурсы, предлагавшиеся самими военнопленными. Ряд выводов показался мне весьма интересным.

Трансформация образцов толкования рассматривается, главным образом, на основе анализа пропущенных цензурой мемуаров военнопленных (во всяком случае, насколько об этом позволяют судить ссылки). Не происходит ли в данном случае «совмещения» дискурсов или подмены одного другим (например, подмены властного дискурса по вопросу об образе врага достаточно «частным» дискурсом военнопленных, или наоборот)? Позволяют ли источники (в частности, очерченный круг опубликованных мемуаров) вообще выделить специфику групповых воспоминаний? Понятие оккупированных воспоминаний всплывает лишь в применении к послереволюционному (читай — советскому) периоду. Может стоит ввести его и для дореволюционного периода?

Пока воспоминания военнопленных всех «правительств» выглядят достаточно конформистски по отношению к властному дискурсу. Предполагается ли выявление иных толкований и возможно ли решение этой задачи вообще?

Мнемотехники власти представлены достаточно «бедными», они фактически исчерпываются возможностями цензуры и «фильтрации» воспоминаний. Интересно было бы в этом вопросе развить намеченную проблему «реинтерпретации» (перетолкований) образцов. Например, очень интересно выглядит трансформация военнопленных из стигматизированной группы «предателей» в «жертв». Хотелось бы узнать подробнее, как происходила «стигматизация». С «жертвами» ситуация более понятная — перетолкование строилось на основе марксистской схемы классовой борьбы. Да, и очень интересен пример с фальсификацией фотографии — это ведь тоже замечательный пример манипулирования памятью.

Пример с эмигрантскими воспоминаниями о плене (хотя одного Краснова, на мой взгляд, для этого маловато) позволяет предположить, что группа российских военнопленных и соответственно её идентификационные образцы не была монолитной. Эта линия напрашивается на дальнейшее развитие.

Со своей (тематической) «колокольни» видятся мне «уши» национал-большевизма в перетолковании образа врага при большевиках, когда речь идёт об «озверевших народах» и «озверевших немецких буржуа». Действительно ли это был невольный промах советской власти или мне эти «уши» только примерещились? Хотя цитата о «двух противоположных группах военнопленных» — буржуах французах, англичанах и бельгийцах и пролетариях русских наводит на те же мысли.

По проблеме религиозности русских военнопленных могу посоветовать почитать статью Байрау о военных священниках в годы

ПМВ, где вопросы религиозности в армейской среде также затрагиваются.

Игорь НАРСКИЙ

Некоторые заданные ранее вопросы и высказанные недоумения, вероятно, отпали бы сами собой, если бы с самого начала чётко был бы обозначен статус этого текста (проект в начальной стадии разработки) и гипотетичность основных идей, нуждающихся в тщательной проверке на основе материалов.

Я бы посоветовал более осторожно формулировать тенденции в клишировании воспоминания о плене. Пока в распоряжении автора — разрозненные артефакты, на основе которых с большой долей допущения строятся динамические процессы забывания, истолкования, перетолкования и пр. Поэтому рекомендую максимальную осторожность в формулировках и выводах. Можно ли с такой уверенностью говорить об успехе государственной мемориальной политики? Я и сам попадался в подобную ловушку, потому и предостерегаю от поспешных заключений.

Оксана НАГОРНАЯ

В завершении нашего обсуждения несколько коротких ответов комментариев:

— не думаю, что содержание воспоминаний военнопленных являлось лишь результатом поиска «я» на фоне врага и не носило отпечаток «политики памяти». Слишком мощным было давление на массу пленных, и слишком явны совпадения с господствующими на определённом этапе установками власти.

— механизмы, инструменты и каналы трансляции (помимо обозначенных в выводе статьи), использовавшиеся большевиками. Во-первых, активная пропаганда в лагерях, распространение специальных изданий для военнопленных. Во-вторых, в рамках эвакуационных органов была разработана целая агитационная программа. На каждой станции для репатриантов проводились митинги, концерты, лекции (по вопросам сути революции и Советской власти, её настоящих задач, мероприятий в отношении бывших военнопленных и т. д.), причём агитатор должен был сопровождать поезд до следующей станции и проследить, чтобы тематика мероприятий не повторялась. При необходимости к обработке репатрируемых подключалась ВЧК. Наконец, на мой взгляд, анкеты, созданные Центропленбежем, акцентировали внимание на нужных власти моментах и способствовали формированию определённых составляющих коммуникативной памяти о плене. К этому моменту общественные организации были

подчинены государственным структурам и тем самым исключены из дискуссии.

– вопрос о реабилитации очень интересен и важен. Разумеется, он требует специального рассмотрения. Насколько позволяет судить собранный на данный момент материал, бывшие военнопленные, действительно, столкнулись со значительными трудностями при попытках вживания в общество, которое к тому моменту значительно изменилось. Снять это противоречие во многом позволила сама ситуация: большинство сразу же после возвращения были мобилизованы в Красную или Белую армии, привлечены в структуры Всевобуча. Кроме того, характерной стратегией поведения стала миграция в другие области.

– идеологема русской души и сердца, как мне представляется, была характерна не только для дискуссии по вопросам плена: она часто используется в риторике Государственной Думы, в прессе и в выступлениях представителей церкви. Положенный в основу самоидентификации данный образ противопоставлялся излишнему рационализму и жестокости немцев.

Игорь НАРСКИЙ

КОНСТРУИРОВАНИЕ МИФА
О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
В РАННЕЙ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
(на примере Урала в 1917–1922 гг.)

В ноябре 1922 г. в Советской России прошли торжества по случаю юбилея Октябрьской революции. Обычные с весны 1917 г. демонстрации и митинги на этот раз были дополнены симптоматичным элементом, а именно вечерами воспоминаний, которые прошли на заводах и в учреждениях, театрах и кинотеатрах. На них люди рассказывали о том, где они пережили революцию и гражданскую войну, что лично они сделали для победы Советов и Красной армии. Ораторы были взволнованы, публика напряжённо слушала. Прошлое выступало в героических одеяниях. Повседневная жизнь и сомнительные темы не затрагивались. Выступавшие не упоминали ни всеобщих восторгов в первые недели Февральской революции, ни «пьяные» погромы пятилетней давности. О массовой бедности, преступности и эпидемиях, о способах выживания в экстремальной обстановке, испробованных практически каждым, также не говорилось.

Этот эпизод, который хронологически должен стоять в конце моего повествования, свидетельствует о том, что Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война 1918–1920 гг. к тому времени, то есть к 1922 г., уже принадлежали к базовым мифам молодого советского государства. Этот факт может показаться банальным и естественным в свете последующего развития Советского Союза — только не из перспективы тех, кто только что пережил эти события.

Государственное «производство» базовых мифов как инструмента консолидации, мобилизации и манипуляции относительно недавно стало важной областью исследования новейшей российской истории (1). При этом часто как нечто само собой разумеющееся предполагается, что прежде всего государство было заинтересовано в создании мифов, якобы организовано централизованным, «сверху».

Однако многое свидетельствует о том — и в этом заключается центральный тезис, — что современники, участники и свидетели

событий интенсивно участвовали в конструировании мифа о гражданской войне. Другими словами, мифотворчество в ранней Советской России было децентрализованным процессом, в значительной степени исходившим «снизу» (2). С этим тезисом связана моя постановка вопросов: какие факторы благоприятствовали мифологизации начала советской истории и ускоряли её темпы; почему гражданская война превратилась в неотъемлемую часть советских базовых мифов; как и по каким причинам представители власти и «обычные» люди принимали в этом участие?

Каждый обрыв преемственности и традиций может породить новые образы прошлого, которые организуются с помощью мифов (3). Этот взгляд, углубленный новой культурной историей (4), позволяет определить временные границы при исследовании коллективной памяти в ранней Советской России. В годы революции и гражданской войны население России дважды пережило подобные разрывы времени. Первым из них отмечена весна 1917 г., когда дореволюционная жизнь в одночасье превратилась в прошлое, вторым — осень 1922 г. После хорошего урожая, который впервые за несколько лет не сопровождался массовыми поборами и репрессивными мероприятиями в деревне со стороны государства, отличия настоящего от прошлого вновь стало для людей очевидным. Революционная пора превратилась в прошлое и настоятельно нуждалась в переосмыслении. Эти две даты и образуют временные рамки статьи.

Связанные с памятью процессы будут очерчены здесь на основе развития Урала. Перед революцией эта область состояла из четырёх губерний — Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской, — расположенных между Поволжьем, Русским Севером, Сибирью и Казахскими степями. Накануне революции её территория охватывала 800 000 кв. км, на которой проживали 13 млн. человек. Во время революции она превратилась в один из эпицентров гражданской войны. Летом 1918 г. Урал, как и огромные территории Поволжья и Сибири, оказался во власти сформированных из военнопленных войск Чехословацкого легиона, восстание которых против Советов во время движения по Транссибирской магистрали в Америку для переброски на Западный фронт содействовало бесславному поражению большевиков на всём пространстве от Пензы до Владивостока. Возникшие на Урале летом 1918 г. региональные правительства с резиденциями в Екатеринбурге, Оренбурге и Уфе поздней осенью 1918 г. сменили Временное всероссийское правительство в Омске во главе с адмиралом А.В. Колчаком. Наступления и контрнаступления «белых» и «красных» армий в октябре–декабре 1918 и марте–июле 1919 г. вызвали к жизни чрезвычайно подвижные линии фронтов

и многочисленную смену власти во многих населенных пунктах. Лишь поздним летом 1919 г. благодаря успехам Красной армии регион вновь был поставлен под (формальным) контроль большевиков.

ФАКТОРЫ УСКОРЕНИЯ МИФОЛОГИЗАЦИИ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Следует исходить из того, что базовые мифы в Российской империи были слишком гетерогенны, чтобы успешно выполнять консолидирующую функцию на всей её территории. Это — первый фактор, благоприятствовавший конструированию новых мифов. Официальные идеология и политика российского самодержавия опирались в XIX в. — в эпоху национализма — на наднациональные, династические и сословные принципы. Формирование национальных идентичностей воспринималось как серьезная опасность для стабильности империи (5). Культура припоминания официальной России принадлежала к так называемому обосновывающему типу и конструировала прошлое таким образом, чтобы оно легитимизировало современность (6). Культуры воспоминания русских и нерусских национальных движений функционировали прямо противоположно: они использовали неизбежно очень разные мифы в качестве инструментов оппозиционной мобилизации. Но и культурная память русских была чрезвычайно разнородной. Русская интеллигенция социалистического и либерального толка искала корни русской истории то в крестьянской общине, то в творческой смелости государства. Она колебалась между московским и петербургским периодами, между европеизацией и руссификацией страны. К тому же преобладавшая часть русского населения — крестьянство — сторонилась чуждых для неё интеллигентских идентификационных предложений. Крестьянские мифы были не национальными, а имперско-патриотическими и профессиональными.

Второй фактор можно определить как частичное, а отчасти и полное разложение старых мифов. Во время революции страна пережила не только беспрецедентную политическую и хозяйственную катастрофу. Общие социальные и культурные условия, которые образуют внешнее измерение коллективной памяти, изменились за несколько лет настолько радикально, что население страдало от культурного шока, близкого травматическому выпадению памяти. Многие старые мифы потеряли убедительность и консолидирующую силу. Государ-

ство и население вновь столкнулось с вопросом о сущности, происхождении и предназначении коллектива. Утрата идентичности обострила необходимость в создании новых базовых мифов.

Третьим фактором было разрушение «нормальных» будней. «Живое» воспоминание о революции и гражданской войне вытеснялось под давлением все более острых повседневных проблем. Каждое травматическое событие «выключало» предыдущие. Центральный аспект разрушения «нормальных» условий жизни и, в связи с этим, действенный фактор нагнетания неуверенности заключался в недостатке информации. Население — особенно с конца 1917 г. — имело очень скромные возможности для создания более или менее полной картины «великих» событий в стране. К этому времени Россия превратилась в архипелаг самостоятельных регионов, каждый из которых был изолирован от остального мира. В декабре 1917 г., когда на Южном Урале уже бушевала необъявленная гражданская война, одна из оренбургских газет констатировала: «События отрезали нас от всего мира. Мы живём, как на острове, среди волнующегося моря. Железная дорога должна была остановиться с той минуты, как большевистские эшелоны двинулись к Оренбургу. Почта и телеграф также не могут связать нас с окружающим миром, так как все телеграммы мы получали через Самару. Мы питаемся только слухами, и эти слухи доходят через случайных лиц, которым удастся пробраться в Оренбург через линию военных действий» (7).

Дефицит информации, от которого страдали жители городов, был особенно велик в сельской местности и горнозаводской зоне. Каждое село, каждый горнозаводский поселок превращался в герметично изолированный мир или развивался в этом направлении. Не проверенные сообщения об отдельных событиях не поддавались какому-либо обобщению. Никто не мог с уверенностью знать, где и что происходит. Жизнь большинства современников тех событий напоминала унылое серое поле без межевых знаков. Этот вакуум нужно было заполнить. Почва для приживления новых мифов была готова.

ПОЧЕМУ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА МОГЛА ПРЕВРАТИТЬСЯ В БАЗОВЫЙ МИФ?

Не подлежит сомнению, что риторика гражданской войны соответствовала настроениям радикального крыла российских социал-демократов, нелегально действовавшего в самодержавной России. Образы

гражданской войны были для В.И. Ленина и его сторонников важным инструментом интерпретации и самопрезентации задолго до революции 1917 г. (8) К тому же, большевики с самого начала были убеждены, что гражданская война является неизбежной частью и апогеем революции.

После большевистского прихода к власти символическое содержание гражданской войны значительно расширилось. Она объединяла мифы о начале (нового этапа истории), о законном насилии, о справедливой войне и о светлом будущем. Миф о гражданской войне был растяжим в любом направлении и поэтому политически полезен, он имел наготове предложения и по поводу стратегий консолидации, и по поводу социального изолирования и определения врага.

Образы гражданской войны «красных» и «белых» были поразительно сходны. И те, и другие почти по-манихейски раскалывали мир на силы добра и зла, славя и героизируя собственную партию и демонизируя сторону противника. Различные представления о прошлом были радикально противопоставлены настоящему, события времен революции истолковывались как начало сызнова. Все воюющие партии объявляли гражданскую войну народной и стилизовали себя в качестве единственного представителя трудящихся классов или нации.

Но этот миф мог утвердиться только в случае его признания населением. Он соответствовал настроению, господствовавшему среди многих очевидцев революции, по двум причинам. Во-первых, гражданская война воплощала в коллективной памяти её свидетелей и участников события с начала Первой мировой войны. Период с 1914 по 1922 г. — время мировой войны, революции, гражданской войны и голода — воспринимался российскими современниками как непрерывная «7-летняя война», кульминация которой пришлась на 1918–1920 гг. Первая мировая война для России не была официально завершена. Она плавно перешла в гражданскую войну, которая вытеснила военные неудачи в более глубокие слои коллективной памяти. Крестьянские восстания в 1919–1921 гг. и голодная катастрофа 1921–1922 гг. воспринимались как прямое следствие (гражданской) войны. Так гражданская война становилась всеохватным событием и универсальным средством объяснения не только раннего советского времени, но и последних лет существования царской империи. Во-вторых, толкование гражданской войны населением содержало впечатление, что разрушение повседневной жизни есть результат заговора враждебных сил. Это создавало важные предпосылки для сотрудничества населения и режима при создании нового мифа, создавая один из немногих мостиков над пропастью, отделявшую широкие слои населения от власти предрежущих.

Эти предпосылки успешной мифологизации гражданской войны были особенно сильны на Урале благодаря особой роли в ней региона. Боевые операции Красной гвардии против восставших оренбургских казаков начались в ноябре 1917 г. — за полгода до официального объявления гражданской войны. Затем, в 1918–1919 гг. Урал превратился в центральную зону военного конфликта, в котором Красная армия воевала против Чехословацкого легиона, армий адмирала А. В. Колчака и его временного союзника в лице башкирских войск. Наконец, гражданская война длилась на Урале и после своего официального окончания: вместо мира пришли террор и «крестьянская война» 1920–1921 гг., которая в момент кульминации значительно превосходила масштабы знаменитой антоновщины в Тамбовской губернии.

К тому же, регион в те годы приобрел важное хозяйственное значение. В последние годы империи Урал превратился в один из наиболее запущенных районов. Его позиции в российской экономике были значительно ослаблены могучим молодым конкурентом — промышленным Югом. Когда Украина с её промышленным и сельскохозяйственным потенциалом оказалась отрезанной от России фронтовыми линиями мировой и гражданской войны, Урал стал для большевистской Центральной России важным резервуаром индустриальной и сельскохозяйственной продукции (9). В 20-е гг. местные власти использовали миф о гражданской войне, чтобы обратить внимание Москвы на проблемы региона (10).

МИФ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ КАК ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Каждый режим в революционной России пытался оправдать свою деятельность как создание истинного порядка из хаоса анархии. Поэтому прошлое устранялось или официально нормировалось. При таких условиях мимолетное замечание о том, что раньше было лучше, могло квалифицироваться как серьезное преступление и — как при «белых», так и при «красных» — повлечь за собой тюремное заключение вне зависимости от положения, пола и возраста обвиняемого.

Но влияние различных властей на трансформацию памяти в стране не ограничивалось подавлением нежелательных воспоминаний. «Красные» и «белые» пытались также фильтровать воспоминания

и создавать новые ориентационные образцы. Однако попытки различных режимов индоктринировать население страдали идеологической гигантоманией. Пропаганда была недостаточно гибкой и велась радикально, «по-военному». Даже самые незначительные явления укладывались в дихотомическую объяснительную схему, которая состояла из таких понятийных пар как «революционный — контрреволюционный» или «патриотический — предательский». Сквозь это идеологическое «сито» просеивались и воспоминания.

Универсальный пропагандистский интерпретационный образец формулировался в категориях теории заговора. Воюющие соперники наперебой старались освободить самих себя и население от ответственности за положение в стране и переложить вину за анархию в России на своих политических противников. При этом теория заговора нещадно эксплуатировалась всеми сторонами. Чрезвычайно популярный в поздней Российской империи образ «темных сил» приобрел более ясные контуры, но при этом — пугающе много ликов. В распаде страны одновременно обвинялись «большевистские разбойники» и «контрреволюционные бандиты», «международная буржуазия» и «немецкий шпион Ленин».

Гораздо эффективнее, чем прямая политическая индоктринация, была мифологическая символизация, которая осуществлялась сменявшими друг друга режимами. В стране, где прошлое толковалось как предыстория революции, новые правители всех политических направлений были заинтересованы в том, чтобы не просто использовать дезориентацию населения, но и в конечном счёте преодолеть её. Без базовых мифов едва ли было возможно восстановить целостность общества, преодолеть анархию и обеспечить лояльность населения.

Нет ничего удивительного, что как большевистские, так и антибольшевистские власти пытались использовать любой повод, чтобы мифологизировать прошлое. Частота праздников и пышность их проведения во время революции и гражданской войны резко противоречили жалким условиям существования населения и скромным материальным средством властей для их проведения.

Важность церемониальной коммуникации для легитимации режима, её нормативный и формативный характер подтверждаются точно регламентированной инсценировкой праздников. С первых дней революции 1917 г. новые власти старались детализировать праздничные церемонии. О месте, времени и порядке праздничных мероприятий первые полосы официальных газет извещали подробно и заранее. В этой регламентации праздников, по-видимому, отражались, наряду с самодержавной традицией, массовая милитаризация

сознания и страх перед нараставшим хаосом в управлении и повседневной жизни. Так, исполком совета рабочих и солдатских депутатов описывал порядок предстоявшего 12 марта 1917 г. в Вятке первого «праздника революции» следующим образом:

«К 11–12 час[ам] дня на площадь кафедрального собора прибывают все принимающие участие группы и организации и выстраиваются по указанию членов гарнизонного комитета. В 12 час[ов] дня Преосвященный Никанор совершает здесь в сослужении со всем городским духовенством при участии хоров всех церквей молебен. По окончании его возглашается многолетие Благоверной Державе Российской, её Правительству и Воинству и вечная память всем павшим в борьбе за свободу.

Похоронный марш.

Марсельеза.

Парад войскам и всем организациям, принимающим участие в торжестве. ...Принимают парад Начальник Гарнизона, Губернский Комиссар и Исполнительный Комитет.

По окончании парада шествие при оркестре музыки и пении хоров направляется по Московской, Владимирской и Кукарской улицам на площадь Александровского собора, обходят собор кругом и выстраиваются лицом к балкону красного корпуса Епархиального училища.

Здесь перед лицом всех участвующих в торжестве с балкона Исполнительный Комитет возглашает три здравицы: первую в честь свободного народа и народного правительства, вторую в честь армии и флота и третью в честь доблестных наших союзников. Здравницам предшествует сигнал фанфарами и после каждой здравицы исполняется марсельеза. После всех здравниц соединенный оркестр исполняет марсельезу, затем фанфары дают отбой параду, чем и заканчивается торжество.

Во время празднества произведен будет кружечный сбор в пользу семей, пострадавших в борьбе за свободу.

Граждане приглашаются в этот день украсить дома красными флагами» (11).

Трудно не заметить, что новые праздники одновременно были днями скорби. Население должно было идентифицировать себя не с поколениями лояльных подданных российской короны, а с бунтарями против самодержавия, с борцами за свободу или за новый порядок. Чествование павших «героев» не противоречило глумлению над трупами и могилами врагов, широко распространённому во время революции и гражданской войны.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ МИФА «СНИЗУ»

Итак, пришедшие к власти в революционном хаосе правительства всех политических направлений имели достаточно оснований заботиться о ритуальной коммуникации и воздействии на процессы припоминания. Однако остается открытым вопрос о роли населения в этом процессе. Многочисленные факты свидетельствуют, что оно охотно принимало участие в празднествах при каждом правительстве. Красные славили этот интерес как проявление зрелого «революционного сознания», «белые» объясняли его как «рождение нового гражданина». Однако эти интерпретации отражали лишь ожидания или наивные предрассудки политических актеров о настроениях населения, которое на самом деле имело собственные основания для активного участия в праздничных церемониях. Будни революционной поры были настолько пронизаны страданием и хаосом, что жизнь казалась утратившей смысл. В отличие от повседневных забот праздники воплощали отсутствующий порядок и восстанавливали целесообразность.

Мифологизация в революционной России приобретала особую актуальность, поскольку помогала перетолковать даже самые сомнительные и отталкивающие стороны разрушенной повседневности, а также индивидуального опыта и биографии — будь то служба при разных и противоборствующих режимах или вызванные материальной нуждой большие и мелкие преступления при любой власти. Эта задача стала особенно настоятельной, когда большевистский режим стабилизировался благодаря переходу к новой экономической политике и период острой нужды казался близящимся к концу. В этом контексте понятны усилия и государства, и современников подвести итог ставшей прошлым гражданской войны. В начале 20-х гг. вечера воспоминаний стали неотъемлемой частью годовщин Октябрьской революции и гражданской войны, а сбор воспоминаний превратился в грандиозный государственный проект.

Власти пошли навстречу желанию населения заменить серые будни яркими образами, превратить сомнительные действия в героические поступки и интерпретировать техники выживания как борьбу за «светлое будущее». Матрицей для такой героизации предлагали конспекты-минимумы, которые в качестве ориентира вручались пишущим воспоминания о революции и гражданской войне.

Конспекты содержали вопросы, которые были посвящены исключительно участию в большевистских организациях или во всероссийских и особенно важных для большевиков «великих» событиях (12).

Эта, относительно дружная работа государства и населения имела, однако, свою обратную сторону. «Маленькие люди» постепенно овладевали большевистским языком времён гражданской войны, и это имело неожиданные и нежелательные последствия для властей. Так, широкие слои населения по окончании гражданской войны верили, что в Советах и коммунистической партии заправляют (бывшие) белогвардейцы.

Таким образом, миф о гражданской войне показал себя многозначным и поэтому полезным и для оппозиционных интерпретаций, критических в отношении настоящего. На Урале он питал, например, воспоминания казаков и башкир о гражданской войне как времени свободы и борьбы за свою независимость (13). Для широких слоёв населения этот миф являлся инструментом критики советских властей.

Подводя итог, можно констатировать, что начало советской власти в воспоминаниях современников изменилось до неузнаваемости всего за несколько лет. Государство и население участвовали в этом процессе в равной мере, хотя и по разным мотивам. Биографическая память при этом фильтровалась, деформировалась и фрагментировалась. Её остатки были украшены пестрой мозаикой мифа о гражданской войне. Этот миф был универсален, так как упорядочивал прошлое и настоящее и очерчивал героическое видение будущего. Он оправдывал милитаризацию политики и языка, превращал армию в модель «подлинного» порядка и играл важную роль как в официальном влиянии на самосознание, консолидацию и определение врагов, так и в альтернативном, антисоветском осмыслении действительности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Sheila Fitzpatrick*. The cultural front: power and culture in Revolutionary Russia. — Ithaca/London, 1992; *Jannes van Geldern*. Bolshevik festivals, 1917–1920. — Berkeley, 1993; *Stephen Kotkin*. Magnetic mountain. Stalinism as a civilisation. — Berkeley, 1995; *Stefan Plaggenborg*. Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjet-russland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus. — Koeln/Weimar/Wien, 1996; *Victoria Bonnell*. Iconography of power: Soviet political poster under Lenin and Stalin. — Berkeley, 1997; *Булдаков В.П.* Красная смута. Природа и последствия революционного

насилия. — М., 1997; *Benno Ennker*. Die Anfänge des Leninkults in der Sowjetunion. — Köln/Weimar/Wien, 1997; *Vladimir N. Brovkin (Hg.)*. The Bolsheviks in Russian Society. The revolution and the Civil War. — New Haven, 1997; *Elizabeth A. Wood*. The Baba and the Comrade. Gender and Politics in Revolutionary Russia. — Bloomington, 1997; *Orlando Figes, Boris Kolonitski*. Interpreting the Russian Revolution: the language and Symbols of 1917. — Yale, 1998; *Catherine Merridale*. Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia. — Oxford, 2000; *Dietrich Beyrau*. Petrograd, 25. Oktober 1917: die russische Revolution und der Aufstieg des Kommunismus. — Muenchen, 2001; и др.

2. В моей книге о повседневности на Урале во время революции и гражданской войны мифологизация «великих» событий интерпретируется как стратегия выживания населения в «идеологической» сфере. См.: *Нарский И.В.* Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг. — М., 2001. С.386–442.

3. «Каждый глубокий обрыв преемственности и традиции может вести к возникновению прошлого, и именно тогда, когда после такого обрыва пытаются начать заново. Начало сызнова, возрождение, реставрация всегда выступают в форме обращения к прошлому» (*Assmann J.* Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. — Muenchen, 1999. S.32.

4. См. сноску 1.

5. *Andreas Kappeler*. Russland als Vielvoelkerreich: Entstehung — Geschichte — Zerfall. 2. Aufl. — München, 1993.

6. *Assmann J.* Op. cit. 68.

7. Южный Урал. 1917. 30 дек.

8. В 1901 г. В.И. Ленин описывал радикальное крыло российских социал-демократов как действующее боевое объединение: «Мы идём тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнём» (*Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т.6. С.9).

9. Так, на Урале в 1920 г. концентрировалось около 70% российского производства металла, что соответствует доли уральской промышленности в российском производстве металла в 60-е гг. XIX в. Накануне Первой мировой войны Урал производил всего 20% железа, в то время как доля Украины вырос до 65%. См.: *Струмилин С.Г.* Избранные произведения. История чёрной металлургии в СССР. — М., 1967; *Голубцов В.С.* Чёрная металлургия в первые годы Советской власти (1917–1923 гг.). — М., 1975.

10. Вероятно, не случайно в начале 20-х гг., когда регионы России искали патрона в политическом центре и создавали их культы, бывший военный комиссар Л.Д. Троцкий оставался на Урале культовой фигурой.

11. Вятская речь. 1917. 12 марта.

12. ОГАЧО. Ф.596. Оп.1. Д.2. С.50–51, 70, 71.

13. См.: *Сафронов Д.А.* Великая крестьянская война 1920–1921 гг. и Южный Урал. — Оренбург, 1999. С.270–307.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ

Павел КРАСНОВ

Можно ли объяснить децентрализованный характер конструирования мифа о гражданской войне, а именно — предоставление инициативы населению следствием колебаний советской власти в идеологической сфере и её стремлением создать некий эффект «незаметности» своего присутствия в этом процессе, так как большинство населения России имело довольно богатый опыт сравнения, и кроме того — в недавнем прошлом было настроено враждебно к большевикам?

Имеет ли смысл установить преемственность мифа о гражданской войне с мифами времени Первой мировой войны для части населения Российской империи (особенно, наиболее правого крыла Белого движения): ведь для них гражданская война была новым этапом войны с внешним врагом, а война как основа повседневной жизни для них стала свершившимся фактом ещё с 1914 г.?

Николай СЕРЕНЧЕНКО

Известно, и Вы об этом пишете, что у каждой из противоборствующих сторон («белые» и «красные») была своя схема исторического прошлого, настоящего и будущего. Эти представления были сверхполитизированны и антагонистичны относительно друг друга. И те, и другие («белые» и «красные») крайне болезненно воспринимали любое несоответствие между их системой ценностей и общественным мнением. Как «белые», так и «красные» считали возможным использовать насилие для устранения подобного рода разнотчений на контролируемых ими территориях. Складывалась ситуация, которую можно охарактеризовать одной известной фразой: «красные придут — грабят, белые придут — грабят». Такие условия, как я понял, явились благоприятной средой для последующего расцвета социальной мимикрии. Если этот так, то можно ли приведенные примеры забывания докладчиками (вечера воспоминаний, 1917–1922 гг.) негативных эпизодов из их личного опыта революционной и постреволюционной жизни объяснить действием механизма социальной, политической, идеологической и пр. маскировки?

С какой степенью интенсивности те или иные социальные слои общества участвовали в формировании новых базовых мифов? Насколько были восприимчивы различные социальные категории населения к новым базовым мифам?

В одном из разделов доклада речь идёт о разложении общих социокультурных условий (являющихся внешним измерением коллективной памяти) из-за чего старые базовые мифы становятся недееспособными. Начинается процесс формирования новых мифов. В связи с этим возникает следующий вопрос: как можно охарактеризовать то внешнее социокультурное измерение, кроме того, что оно было экстремальным, в пределах которого формировались новые базовые мифы? Иными словами, шёл ли этот процесс на руинах (т. е. с чистого листа) социального и культурного пространства старых мифов или эти руины и есть новые социокультурные параметры внешнего измерения коллективной памяти?

Л ю б о в ь У л ь я н о в а

В докладе хронологические границы очерчены 1917–1922 годами. Советская власть на Урале установилась к концу лета 1919 года. В период с осени 1919 по 1922 гг. как то изменились формы и методы пропаганды? К примеру, сохранилась ли частота и пышность праздников, утраиваемых властью для населения, наподобие описанного в проекте.

В качестве третьего фактора ускорения мифологизации выделяется разрушение «нормальных» будней, центральным аспектом которых называется «недостаток информации» (С.83). Насколько правомерно говорить о недостатке информации именно как о главном аспекте, так как для самого населения, на мой взгляд, гораздо важнее была хозяйственная катастрофа (например, проблемы с питанием).

Несомненно, что для Ленина и его близких соратников создание мифа о гражданской войне «как важного инструмента интерпретации и самоинтерпретации» (С.84) было осознанной необходимостью. Насколько сознательным для тех, кто «мифологизировал» прошлое в провинции, был сам процесс мифологизации, не были ли праздники и прочие формы пропаганды просто способом удержания власти без цели создания «базового мифа»?

Чем отличались (и отличались ли) методы работы с населением в деревне по сравнению с городом?

А л е к с а н д р Ф о к и н

Мифу миф! Трактовка выборочности воспоминаний о Революции и Гражданской войне лично мне кажется слишком одно-

сторонней. На первое место ставится влияние нового, базового мифа Советского государства. Мне не кажется, что это нечто само собой разумеющееся. У меня возникает вопрос, а не является ли это результатом простого человеческого мышления? Я думаю, что тезис о свойствах человеческой памяти вытеснять негативные воспоминания не вызывает сомнений. А в 1922 г. во время праздника и подавно позитив явно будет превалировать над негативом. Ведь кто на дне рождения будет говорить плохое про именинника? Следовательно, на мой взгляд, встаёт вопрос о соотношении мифологизации и пасторализации памяти людей. Согласен, что человеку свойственно привносить новое в рамки старых представлений, и подобно Прокрусту человеческий мозг любит отсекал все лишнее. Мне кажется, что здесь идёт речь о восприятии событий, а для мифологизации необходимо не только восприятие, но и осознание, которого к 1922 г. у большинства населения не было.

Спорным мне кажется и тезис о государственном конструировании мифа о Гражданской войне применительно к этому периоду. Ведь нам известны изданные тогда литературные произведения, которые показывают Гражданскую войну с весьма неприглядной стороны. Что явно не сочетается с тем образом, который предстает на вечерах воспоминаний. Согласитесь, что имеется некоторое противоречие в том, что государство издает произведения, которые не согласуются с его установками на мифологизацию Гражданской войны.

Касательно мифологизации «снизу» у меня также есть замечания. Возникает резонный вопрос, есть ли разница между мифологической историей и обыденным знанием? Поскольку, рассматривая представления множества людей, мы неизбежно вынуждены будем создавать некий конструкт, в который должны будут поместиться все воспоминания. Таким образом, исследователь сам конструирует некий миф, который потом и изучает. Скорее всего, если сегодня провести исследование о недавнем событии среди значительного числа людей, у нас тоже получится некий миф. На мой взгляд, надо идти от общего к частному. Необходимо смотреть, как трансформировались представления под внешним воздействием, а не рассматривать децентрализованное «мифотворчество». Ведь в случае низового мифотворчества общий миф не сложится, поскольку миф каждого отдельного человека будет отличаться от мифа другого. Конечно, есть хитрая лазейка. Можно признать существование нескольких мифов. Например, государственного (кинофильмы, литература, пресса) и народного (частушки, анекдоты и т. д.) Но и в этом случае предложенная концепция имеет существенный изъян.

Собственно, что изучается: государственный, народный или собственный миф?

Х а й к о Х А У М А Н Н

Подход представляется мне очень интересным, и я согласен с основными тезисами*. Они весьма продуктивны, и я думаю, что анализ Гражданской войны как базового мифа в связи с процессами «снизу» и исследование советского патриотизма многое объясняют. У меня есть лишь несколько замечаний:

По поводу текста: в моих собственных размышлениях о памяти я ещё не достиг ясности о том, как можно более точно представить себе «коллективное воспоминание». Что представляет собой коллектив? Где находятся воспоминания? Как выглядит отношение между коллективным и индивидуальным воспоминанием? Что было бы специфическим для Урала?

Есть у меня вопрос и по поводу праздников после 1917 г. У меня сложилось впечатление, что революционные праздники в Москве и Петрограде, по крайней мере в 1918 г., а может быть, и в 1919 г. были значительно менее регламентированы, чем более поздние, особенно при сталинизме. Судя по сообщениям и фотографиям, в них было много стихии и мало дисциплины. Было ли это иначе на Урале или я вообще заблуждаюсь?

К а р м е н Ш А Й Д Е

Тексты И. Нарского и О. Никоновой затрагивают до сих пор мало изученную область ранней советской истории, а именно значение Гражданской войны для всех сфер жизни, т. е. как для политики, так и для повседневности. И. Нарский очень хорошо демонстрирует, что Гражданская война почти для всех людей запечатлелась как опыт страданий, потерь и ужасов, а также инструментализацию памяти о ней в целях новых властителей. Воспоминание о Гражданской войне в праздниках и в пропаганде предлагало людям образцы толкования повседневной жизни, тем более что форма воспоминания апеллировала к традиционному культу предков.

Меня интересует, можно ли более детально проследить процесс проникновения государственных образцов толкования в повседневность и определить, в каких жизненных ситуациях индивидуумы пользовались пропагандируемыми клише. Какую роль играла церковь в проведении праздников? Была ли она на Урале сознательно привлечена к ним?

* Имеются в виду доклады И. Нарского и О. Никоновой, которые были вместе выставлены для обсуждения — *прим. сост.*

В отношении обоих докладов меня интересует происхождение «базовых мифов»: имелись ли у них литературные или исторические предшественники? Если исходить из того, что они находили отклик в населении, мне хотелось бы найти этому объяснение. Были ли они связаны с коллективными представлениями о ценностях и нормах?

Игорь НАРСКИЙ

Прежде всего, несколько предварительных слов о моём понимании мифа. Миф следует рассматривать не как архаичный антипод инструментального разума, а как раннюю форму рационализации и, в конечном счете, чрезвычайно сложную систему символизации. Эта система видоизменяется вместе с состоянием культуры и остается действенной и в современном обществе. Мифы являются продуктом культурных кризисов, столкновения культур и имеют самое непосредственное отношение к осознанию людьми своей социальной принадлежности — коллективной идентичности.

Я придерживаюсь определения мифа, используемого немецким египтологом и теоретиком культуры Я. Ассманом, согласно которому «миф — это обосновывающая история, история, которая рассказывается, чтобы осветить настоящее с точки зрения его происхождения» (См.: *Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 1999. S.52*).

Вопрос в том, опирается ли эта история на факты, или она фиктивна, при таком определении мифа о происхождении утрачивает своё значение.

В моём тексте такие мифы не очень удачно названы базовыми. Отвечая на вопрос о том, что такое «базовый миф», хочу уточнить, что имеются в виду мифы о происхождении, убедительно для социума отвечающие на вопросы «Кто мы, откуда и куда идём?» и тем самым поддерживающие его целостность.

Почему же те или иные (подлинные или вымышленные) события превращаются в мифы? Содержание, структура и длительность воспоминаний индивидов зависит от «социальной рамки», или социально-культурного контекста, в котором эти воспоминания циркулируют, кажутся убедительными с точки зрения интерпретации действительности и важными для поддержания целостности коллектива. В случае изменения этих социальных условий, нарушения циркуляции воспоминаний или утраты ими функции социального ориентирования наступает забывание, которое, таким образом, также является социальным процессом.

Миф можно интерпретировать как инструмент и стратегию целенаправленного забывания: миф шлифует прошлое, освобождая

последнее от «ненужных» деталей, придавая ему смысл и нормативное звучание. Миф объединяет настоящее с прошлым и приоткрывает завесу будущего, обеспечивает идентификацию членов коллектива и тем самым поддерживает его целостность. Обновление мифа становится жизненно необходимым для группы в кризисные для неё периоды.

Исходя из этих посылок, считаю необходимым подчеркнуть следующее:

Мифологизация прошлого — лаконичное обозначение сложного и противоречивого процесса, в котором задействованы интернализация и эктернализация чужих и собственных переживаний, индивидуальные стратегии вытеснения, аккумуляция и кодирование опыта и многое другое. Умолчание об этих подразумевающихся процессах как раз и ставится мне в вину в задиристом эссе А. Фокина.

Между мифологизацией, обыденным и «научным» сознанием нет непроходимых границ, так как все они работают в режиме редукции. Проблема «историк и миф» составляет отдельную тему для дискуссии. Об этом много написано, поэтому здесь ограничусь лишь беглым замечанием: создавая нарратив о прошлом, историк поставляет материал для мифологизации. Однако его «история» превратится в миф только в том случае, если станет основой для групповой идентификации и приобретёт нормативный характер. Будет ли историк участвовать в инструментализации истории для мобилизирующих социум целей — вопрос его выбора и совести.

Миф о гражданской войне в революционной России являлся побочным, если не случайным продуктом самой гражданской войны и общей ситуации, в которой приходилось жить её современникам. Он не мог быть ни единым, ни монолитным, он видоизменялся вместе с изменением «социокультурной рамки», его содержание было текучим, он по-разному соотносился с индивидуальными переживаниями и опытом актеров, он мог использоваться в диаметрально противоположных целях, в том числе и как средство сопротивления, и как орудие социальной мимикрии (тем самым я утвердительно отвечаю на один из вопросов Н. Серенченко).

В этой связи мне кажется непродуктивной сама постановка вопроса (она прозвучала в вопросах П. Краснова и Л. Ульяновой) о том, был ли децентрализованный характер мифологизации следствием сознательной позиции большевиков и осознавали ли участники этого процесса во власти или за её пределами, что они конструируют миф. Это была чистая импровизация, жизненно важная для всех в условиях дезориентации и неуверенности в завтрашнем (да и сегодняшнем) дне. В этом смысле мифологизация и не могла быть цен-

трализованным процессом. Не стоит переоценивать силу и дальность зрения большевиков, якобы рассчитавших свою игру на много шагов вперёд. Достаточно вспомнить, что деревня до коллективизации оставалась миром в себе, труднодоступной и чужой территорией для новых правителей.

Миф как нарративная конструкция, убедительная для группы в данное время и данном месте, весьма пластичен и трансформируется с изменением внешних условий, он подвижен в социальном пространстве и времени. В этом, на мой взгляд, корень его живучести. Его базовые смысловые «ячейки» могут наполняться новым содержанием. Это заметно и в мифотворчестве о гражданской войне в России. Оно опиралось на многие прежние мифические конструкции — о несправедливой власти, о заговоре темных сил и др. Другими словами, мифологизация строилась на заполнении содержательного вакуума (замене старых авторитетов новыми, реинтерпретации прошлого), но смысловые шаблоны отнюдь не были разрушены. Ни о начале с чистого листа, ни даже о строительстве на руинах в отношении мифологизации гражданской войны говорить, по-моему, не целесообразно.

Самый трудный, пожалуй, вопрос касается социально-групповой специфики мифотворчества, поскольку групповые границы (за исключением гендерных и возрастных, последние из которых по фотографиям из мест голодного бедствия 1921–1922 гг. едва читаются). С опорой на отрывочные свидетельства и весьма условно можно говорить о том, что город был податливее деревни, младшие поколения — податливее старших, а мужчины — податливее женщин в усвоении «красных» мифов.

Думаю, с одной стороны, особенности и фрагментарность исторической базы не позволяют уверенно говорить о масштабах идеализации дореволюционного и довоенного прошлого. Наверняка она была больше, чем сообщают дошедшие до нас свидетельства. С другой стороны, не только репрессии и социальная мимикрия заставляли помалкивать о «добрых старых временах» тех, у кого они были. Жизнь в Советской России была слишком тяжела, чтобы дразнить себя светлыми воспоминаниями, лишь усугубляя отчаяние. К тому же, положительные воспоминания о прошлом были изрядно «подпорчены» Первой мировой войной, сломавшей многие завышенные ожидания. В таких ситуациях обычно большие куски прошлого памяти ретроспективно окрашивает в негативные тона.

Память о Первой мировой и гражданской войне были неразрывно связаны, я об этом писал. Причём это было характерно не только для «белой» стороны. Гражданская война становилась всеох-

ватным событием и универсальным средством объяснения не только раннего советского времени, но и последних лет существования царской империи. Для большевиков этот интерпретационный образец оказался настоящим идеологическим подарком: он позволял списать ответственность за собственные политические ошибки и их разрушительные последствия в рамках этого периода на самодержавие и «буржуазию». То, что эта манипуляция временем и памятью сходила им с рук, с очевидностью свидетельствует о популярности представлений о непрерывной войне 1914–1922 гг.

Оксана НАГОРНАЯ

В статье «Великая война и российская память» Д. Орловски отмечает, что изобретателями политики подавления памяти о Первой мировой и замене её воспоминаний и героев собственными в России стали не большевики, а именно Временное правительство, которое попыталось использовать образ революции, как победу над старым режимом и преодоление его негативных кодов.

В какой степени, на Ваш взгляд, большевики учитывали негативный опыт формирования новых мифов своими предшественниками, можно ли говорить о преемственности мифотворческих принципов или об их принципиальном различии?

Игорь НАРСКИЙ

Мне кажется, в желании увидеть преемственность или её нарушение в большевистской политике подспудно присутствует переоценка возможности большевиков планировать свою деятельность и недооценка уровня дезорганизации и хаоса, обуявших революционную Россию и поставивших под сомнение успех реализации тех или иных интенций исторических актеров.

Конечно, существует большое искушение и солидная историографическая традиция противопоставления отношений к войне Временного правительства и большевистского руководства. Однако я бы не стал говорить о том, что в этом вопросе большевики учились у Временного правительства или учитывали его ошибки. Их отношение к мировой войне оформилось до 1917 г., и провал Временного правительства (которому они активно поспособствовали), лишь укрепил их позицию в этом вопросе. Кроме того, мы наблюдаем в обоих случаях принципиальную близость позиций — желание довести войну до победного конца, но разными средствами, трансформируя её в инструмент либерализации и демократизации политических порядков в стране или в мировую революцию (гражданскую войну).

Что касается мемориальной политики по поводу мировой войны, то она у Временного и ленинского правительств почти неразли-

чима: желание интерпретировать поражение как победу и создать новых героев наблюдаются в обоих случаях. Но это, как мне кажется, происходит из общности проблем, прежде всего — из дефицита легитимности, с которым столкнулись политики и который они пытались преодолеть в ходе разрозненных импровизаций.

А л е к с а н д р Ф О К И Н

Оправдывая пожелание, продолжаю свои задиристые комментарии. И просьба не обижаться, поскольку всё ниже написанное создано в силу врожденной тяги к оппозиционности и пессимизму.

В начале хочу выразить своё мнение по поводу самого термина «миф». Следует уточнить, что определение Ассмана «миф — это обосновывающая история, история, которая рассказывается, чтобы осветить настоящее с точки зрения его происхождения» следует дополнить характеристикой «актуальный» или «современный». Иначе мифы, которые не относятся к нам, перестанут называться мифами. Ведь мифы древней Греции не обосновывают, откуда происходят русские.

Становясь на довольно радикальную позицию, осмелюсь сделать предположение, что разграничивать миф и культуру вообще не следует. И в противовес Вашему заявлению о том, что «мифы являются продуктом культурных кризисов» хочу сказать, что, на мой взгляд, возникновение мифа является результатом кризиса старого мифа, который перестал справляться с своей задачей организации смысла существования индивидуума. Как мне кажется, основная задача мифа — это не ответ на вопросы «Кто мы, откуда и куда идём?», а ответ на вопрос «ЗАЧЕМ?». В моём понимании миф не шлифует прошлое, а создаёт его.

Но если воспринять позицию, находясь на которой Вы создали обсуждаемый здесь проект, то мне представляется, что в логике Вашей работы существует противоречие. Если главной задачей нового мифа становится ответ на вопросы «Кто мы, откуда и куда идём?», то «актуальный» миф о гражданской войне становится таковым только для узкой группы людей. Если посмотреть на Россию того времени, то основную массу населения составляли крестьяне. Для крестьян основным мифом был, конечно, аграрный миф. Конечно, они пережили сильные потрясения в период 1914–1922 гг. Но вытеснить аграрные представления мифом о борьбе за создание нового космоса в отсутствии всякого влияния на ментальную жизнь крестьянина было просто не реально. Скорее всего, смена мифа в деревне произошла в годы коллективизации.

Таким образом, из под влияния мифа выпадает значительная часть населения. У многих людей были свои базовые мифы, которые

не совпадали с большевистским. Конечно, часть людей являлась носителем мифа о гражданской войне, но абсолютизация этого тезиса — это, по-моему, «перегибы на местах и головокружение от успехов». Следует признать, что неудачным было не только использование термина «базовый миф» но и распространение одного мифа на все население. Не зря я спрашивал, какой миф изучается. Похоже, что, подобно героям У. Эко из «Маятника Фуко», Вы сами стали пленником мифа.

Игорь НАРСКИЙ

Новая порция замечаний представляется мне несколько умозрительной. Это касается ряда предложений по уточнению терминов и дефиниций. Я не вижу необходимости во введении термина «актуальный миф». Мне думается, что логика этого предложения коренится в традиционном представлении о мифе как о жанре повествования (синонимичном «легенде», «саге», «былине») и досовременной форме толкования действительности. Я же считаю миф одним из действенных и в современном обществе инструментов конструирования реальности.

Таково же моё отношение к вашему подозрению, что я отделяю миф от культуры. Уверяю Вас, у меня этого и в мыслях не было. Чем выражение «культурный кризис» хуже «кризиса старого мифа», я не вижу, как не вижу смысла и в умножении сущностей и умозрительной эквилибристике терминами.

Я согласен с Вами, что миф создаёт прошлое. Возможно, моя метафора «шлифовки прошлого» не совсем удачна, но я имел в виду совершенно определённую функцию мифа, связанную с коллективным забыванием — устранение «ненужных» деталей из картины прошлого.

Что такое «аграрный миф», остаётся гадать. Вероятно, речь идёт о том, что крестьянское мироощущение цементируется идеей о Божьей (то есть ничьей) земле и свободном труде на ней. Но разве эта идея не может адаптировать миф о революции и гражданской войне как о справедливом насилии или Божьей каре, о большевиках как об освободителях или о «военном коммунизме» как о несправедливом отношении коммунистов к вольному пахарю?

Я не могу согласиться с Вами, что миф о гражданской войне был для крестьян неактуальным. Гражданская война была повседневным опытом крестьян, и игнорировать её они не могли. То, что деревня стремилась закрыться от внешних влияний (и относительно успешно справлялась с этим до коллективизации) вовсе не отменяет её интереса к внешнему миру и потребности его осмыслить. Крестья-

янские толкования гражданской войны — в том числе инструментализация образа белогвардейца как образа врага — важная составляющая процесса нового мифотворчества.

Александр ФОКИН

Вы говорите, что выражение «культурный кризис» не хуже «кризиса старого мифа». Следует это понимать как признание позиции, что вся культура это миф? И кроме мифа нет ничего? Также мне интересно ваше мнение по поводу вопроса об основной функции мифа. Вы говорите, что под «базовыми мифами» имели в виду мифы о происхождении, убедительно для социума отвечающие на вопросы «Кто мы, откуда и куда идем?» и тем самым поддерживающие его целостность, то есть, миф должен показывать начальную точку движения, отвечая на вопрос «Кто мы, откуда и куда идем?» Не должен ли он также отвечать на вопрос, зачем мы идем из одной точки в другую?

Правильно ли я понял, что, исходя из акцента на функцию мифа, связанную с коллективным забыванием и устранением «ненужных» деталей из картины прошлого, получается, что миф создает прошлое при помощи воспоминаний, или воспоминания, подвергшиеся редукции, начинают называться мифом?

Но в этом случае следует провести корректировку, чтобы не возникало подмены понятий. Я согласен с тем, что для крестьян гражданская война была актуальна, но она не была базовым мифом. Миф о гражданской войне был базовым для молодой Советской Республики, поскольку он, конечно, объяснял, откуда она взялась. Но вряд ли он был таковым для населения. И если говорить о производстве базового мифа, то это, конечно, было государственным делом. У населения же сформировались свои собственные мифы о гражданской войне, которые в силу понятных причин, были схожи с базовым мифом государства. Возможно, мы имеем дело с двумя мифотворческими процессами в 20-е годы, которые вырастают из одних событий. Но один из них завершился созданием базового мифа государства, а другой — обычным мифом памяти. Тогда все становится примерно ясно. Надо просто развести термины и участников, чтобы получить более или менее чёткую картину.

Игорь НАРСКИЙ

Коротко по поводу терминологических замечаний. Я вовсе не смешал официальные легитимирующие мифы с мифами оппозиционными — они представлены у меня в разных разделах статьи. Конечно, содержание культуры не исчерпывается мифами. Но как

одна из форм познания действительности, дарующая человеку ориентиры в окружающем мире — по-моему, это и есть главная функция мифа, — миф безусловно принадлежит к миру культуры.

Рад, что согласились с тем, что в сотворении советских мифов участвовало не только государство, что это был процесс массовый и децентрализованный — это именно то, на чём я более всего настаивал.

Ольга НИКОНОВА

ВОЕННЫЙ ОПЫТ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА

События 1917 г. в Российской империи, по мнению Ленина, были лишь прологом к мировому революционному пожару. Европейская и мировая история стали, однако, развиваться по другому сценарию. «Запаздывание» мировой революции в значительной степени определило дальнейшую историю советской республики. Начиная с 1918 г. и вплоть до окончания Второй мировой войны большевики неоднократно оказывались перед выбором: социалистическая революция или выживание советского государства. Очевидно, к «переломным» моментам можно отнести заключение Брестского мира, образование СССР, предвоенный политический кризис 1939 г., роспуск Коминтерна во время Второй мировой войны. Перефразируя название знаменитой ленинской работы 1918 г., можно сказать, что речь шла о выборе философского порядка: государство или революция? В свете этой дихотомии предвоенная советская история демонстрирует явный приоритет «государства». Тот факт, что одна из самых радикальных революционных партий России начала XX в., придя к власти, оказалась «в плену» государственной идеи, может показаться неким историческим парадоксом. Разобраться в этой «парадоксальной истории» я попытаюсь, сфокусировав взгляд на 1930-х гг., обозначивших поворот к «государственности» на уровне «большой» политики, заложивших основу новой советской идентичности — советский патриотизм, ставших решающим этапом в подготовке советского государства к испытанию «тотальной» войной.

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА НАЦИОНАЛИЗМУ

Представляется, что советский патриотизм можно рассматривать в качестве «альтернативы» национализму, сконструированной сталинским руководством в 1930-е гг. Целый ряд критериев, ключевых

для понимания возникновения и сущности современного национализма, «работают» и в случае советского патриотизма. Речь идёт, например, о таких характеристиках советского патриотизма как мобилизующая и интегрирующая функции, о таких условиях его формирования как наличие общей территории (территория бывшей Российской империи, за исключением Польши, Прибалтики и Финляндии), ядра в виде политико-государственного союза (формально федеративный СССР) и катализирующего фактора войны (Вторая мировая война). Война между СССР и Германией, получившая в СССР название «Великой Отечественной войны», может считаться как «ускорителем» формирования советского патриотизма, так и решающим этапом в этом процессе.

Важнейшим критерием, указывающим на альтернативный характер советского патриотизма, является, пожалуй, приоритетная роль этого феномена в формировании идентичности огромного человеческого сообщества, проживавшего на территории от Бреста до Владивостока. Можно предположить, что на протяжении 1930-х — 1940-х гг. советский патриотизм постепенно становится медиумом, посредством которого многонациональное советское «социалистическое» государство превращается в «высшую ценность» (1), ради которой, подобно национальной идее, шли на смерть и тяжёлые испытания. Советский патриотизм превращается в матрицу, которая определяла особенности мировосприятия и поведения людей, «навязывала» способы истолкования прошлого и окружающей действительности.

В отличие от национализма, знавшего «досовременные» формы, советский патриотизм был достаточно «молодым» и, как показали 1990-е гг., недолговечным феноменом. Подробный анализ причин этой недолговечности останется за рамками данного исследования. Я сосредоточусь в настоящий момент на особенностях «рождения» советского патриотизма, нежели его «смерти».

Советский патриотизм стал идеологическим конструктом, достаточно противоречивым по своей сути. Он эклектично объединил в себе риторику пролетарского интернационализма и русского национализма (по мнению некоторых историков, великорусского шовинизма), революционный пафос и буржуазные добродетели, мифологию имперского прошлого и мифы, рожденные революцией и гражданской войной. Советский патриотизм оказался грандиозным «воспитательным» проектом (2), успеху которого (пусть даже кратковременному) способствовала специфика исторического контекста: перманентное состояние внутреннего раскола советского общества, поддерживавшееся властью в межвоенный период, и «ожидание»

будущей тотальной войны. Эти две «войны» — война «внутренняя» и война внешняя — придали проекту «советский патриотизм» мощный интегративный потенциал и мобилизующую силу.

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В КОНТУРАХ «БОЛЬШОЙ» ПОЛИТИКИ

В апреле 1925 г. на XIV партийной конференции была принята резолюция, признавшая принципиальную возможность и необходимость построения социализма силами одной страны. Позднее И. Сталин неоднократно возвращался к этой резолюции в полемике со своими политическими оппонентами. В одной из своих программных статей 1926 г. («К вопросам ленинизма») Сталин определил признание возможности социалистического строительства в СССР без активной поддержки международного пролетариата (мировой революции) как появление у советских людей «перспективы». Это выражение, употребленное Сталиным, символизировало важные изменения, произошедшие во властном дискурсе и политике советского руководства. Восстановление недостающего «исторического времени» — социалистического будущего, появление самостоятельной, независимой от мировой революции исторической перспективы, вероятно, можно интерпретировать как своего рода исторический «прогноз» (3), оказавший непосредственное влияние на текущую политику советского руководства и советское прошлое. Советское государство с этого момента обрело некую экзистенциальную автономность, историческую самоценность и политическую самодостаточность. Общая историческая перспектива — социализм — должна была стать интегрирующим фактором советского общества и в этом качестве — движущей силой политики современности. Все, что не вписывалось в эту перспективу, должно было «отмереть» или быть ликвидировано.

Новый этап истории советского государства, обозначенный в середине 1920-х гг., постепенно обретал свои характерные черты в «большой» политике. На рубеже 1920-х — 1930-х гг. наметились изменения в национальном вопросе: курс на «коренизацию» сменился усилившейся централизацией. На теоретическом уровне новшество подкрепляла сталинская сентенция о «социалистической нации», существование которой неизбежно в условиях враждебного капиталистического окружения (4). На уровне политической практики — выразилось в смене национальных элит (борьба против «на-

ционалистических» уклонов и репрессии, с одной стороны, и «прикармливание» местной бюрократии, готовой проводить политику ассимиляции, с другой стороны) (5) и «культурном» империализме (насаждение русского языка, борьба с национальными культурными традициями под лозунгом борьбы с «отсталостью» и др.) (6).

1934 г. ознаменовался изменением политики по отношению к прошлому. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР о разработке новых школьных учебников любопытно не только призывом к изложению истории в «занимательной» форме, но и появлением термина «гражданская история».

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ И ВОЕННЫЙ ОПЫТ

Исследование современного национализма показало, что кризисные ситуации, и в первую очередь войны, относятся к факторам, ускоряющим формирование идеологий, на базе которых складываются идентичности. С этой точки зрения, Великая Отечественная война СССР оказала решающее влияние на складывание советского патриотизма. Одновременно можно утверждать, что «форсированное» конструирование советского патриотизма приходится, пожалуй, уже на предвоенный период, когда будущая война вошла в «кровь и плоть» советской повседневности и в значительной степени определила «горизонты ожидания» советского политического руководства и обычных людей. Неразрывность категорий «ожидание» и «опыт», показанная Р. Козеллеком, позволяет предположить, что ожидание новой мировой войны неизбежно актуализировало опыт прошлых войн в анализируемом «настоящем». События 10–20-летней давности — Первая мировая и гражданская войны — представляли собой тот «кладезь» военного опыта, который в сочетании с «ожиданием» войны в будущем определил патриотический дискурс в СССР 1930-х гг. «Взаимоотношения» трёх войн и способы их влияния на конструктор «советский патриотизм» представляют собой достаточно сложный феномен.

«*Военное поколение*». В 1930-е гг. всё ещё в активном возрасте находилось «военное поколение» — поколение прошедших Первую мировую и гражданскую войны (7). Это поколение составляло «целевую» группу военной политики государства: на V съезде Советов военнообязанными были признаны все подходившие по классовому признаку и политически лояльные мужчины от 18 до 40 лет. Помимо

вероятного участия в будущей войне, упомянутая категория людей являлась объектом «воспитательной» работы государства, направленной на формирование комплекса прав и обязанностей гражданина государства современного типа. В совокупности с юношами призывного возраста, не имевшим боевого опыта, «военное поколение» должно было в случае будущей войны составить армию — «физическое воплощение нации и символическое братство солдат-граждан» (8). С точки зрения «большой» политики, в том числе в сфере военного дела, важно, что советские руководители 1930-х гг. и военное руководство страны также принадлежали к «военному поколению», многие (а среди военных — подавляющее большинство) были непосредственными участниками боевых действий (9).

Насилие и дисциплина. В опыте будущих вершителей судеб — большевиков — и рядовых участников событий двух войн запечатлелись черты, ставшие впоследствии базовыми характеристиками мировых тенденций развития в XX в.: первые признаки тотальной войны с её массовыми армиями, тотальной мобилизацией общества для нужд нации, масштабное применение насилия, в том числе против определённых этнических групп, опыт армейского организма с его подавлением индивидуальности и дисциплиной. В контексте военного опыта достаточно логично поддается интерпретации пронизанная насилием политическая практика большевистского (в том числе послеленинского) руководства (10) вплоть до достижения общественного компромисса через насилие (пример в сфере национальных отношений — образование СССР). Борьба против «партизанщины» в годы гражданской войны и усиливающийся большевистский дискурс о дисциплине в ленинский период развились в период раннего сталинизма в целую систему унифицирующе-дисциплинирующих мероприятий (все виды борьбы с инакомыслием, социальное выравнивание общества путем репрессий против целых общественных групп, усиление тотального контроля за обществом и, наконец, русификация). Армия в числе прочих институтов превратилась в мощный инструмент «перевоспитания», унификации и дисциплинирования (11).

Военный опыт и военное строительство. Стратегический и оперативный опыт Первой мировой и Гражданской войн стал «полем битвы» между двумя группами советских высших военных руководителей. Война позиционная или маневренная, оборонительная или наступательная, механизированная или конная — эти вопросы обозначили водораздел между «военными специалистами» (бывшими царскими генералами и полковниками, перешедшими на сторону Советской власти) и «красными командирами» (низшими армейски-

ми офицерами времен Первой мировой, сделавшими карьеру в Красной армии в годы Гражданской войны). Как дань социалистической идеологии и результат сложной экономической ситуации к этим вопросам присоединилась и проблема милиционной или постоянной армии (12). Дебаты между военными, на первый взгляд, на узко-профессиональные проблемы, оказали самое непосредственное влияние на формирование советского патриотизма. «Военными специалистами», исследовавшими катастрофический для России опыт 1914–1918 гг., был поднят вопрос о роли моральной устойчивости и боевого духа армии как важнейших факторов победы в условиях современных массовых войн (13). Именно слабая моральная устойчивость русских войск в годы Первой мировой войны стала, с точки зрения «военспецов», одной из важнейших причин неудачных боевых действий на Восточном фронте. Русские солдаты, будучи сравнительно хорошо обученными и дисциплинированными, проигрывали противнику в своей готовности умирать «За Веру, Царя и Отечество» в критических ситуациях. Наличие некоего интегративного идеологического концепта — в понимании военных это должен был быть патриотизм — было единственной возможностью избежать катастрофы в будущей войне.

Армия. В середине 1920-х гг. советское государство перешло к «смешанному» типу формирования армии: кадровые части (ядро армии) должны были сочетаться с территориальными (вариация милиционной армии). Первые призывы военнообязанных мирного времени показали, что будущие солдаты Советской Республики (в первую очередь крестьяне, призванные в территориальные части) были неподготовленной почвой для распространения среди них каких бы то ни было идей — интернациональных, национальных или патриотических. В служебных отчетах они характеризовались как призывники с низким «культурным и политическим уровнем», что выражалось в «религиозности», «национальном антагонизме», большом количестве неграмотных. Межвоенный период — свидетельство попыток советского руководства создать эффективную и боеспособную армию, в равной степени сочетавших традицию и новацию. Военная реформа 1924–1925 гг. (реформа М. Фрунзе) законодательно закрепила, как показал Дж. Санборн, армию «национального» типа (то есть призванную защищать интересы политического сообщества на определённой территории — СССР, а не мировой революции), формируемую из «граждан СССР» с целью защиты государственной территории. Служба в армии была признана «правом» всех граждан советского государства. Классовый принцип нашел своё выражение в лишении нетрудовых элементов права защищать государство

с оружием в руках (14). Комплекс привилегий, связанных со званием военнослужащего, и мероприятий, ориентированных на изменение социального и культурного статуса военнослужащего после службы в армии (обучение грамоте, овладение дополнительной профессией, политическое образование, возможность вступления в комсомол или партию и др.), повышали престиж военной службы и делали её привлекательной для рабочей и крестьянской молодежи (15). В большевистском дискурсе армия получила наименование «школы коммунизма». В 1930-е гг. армию с равным успехом можно было бы назвать и «школой патриотизма», учитывая сочетание социалистической идеологии с элементами патриотического воспитания в работе армейских политорганов, что было показано Марком ван Хагеном.

Военизация гражданского населения. Признаки тотальной войны, проявившиеся в 1914–1918 гг., в корне изменили отношение к понятию мобилизация. Для военных вовлеченность всей нации в войну означала в первую очередь превращение всего мужского населения страны (а в наиболее радикальных вариантах — и женского) в хорошо обученные боевым навыкам и морально стойкие резервы действующей армии. В СССР проект военной подготовки гражданского населения получил название «военизация» (отказ от принятого в западных странах термина «милитаризация» был призван подчеркнуть отличие советских методов работы с гражданским населением от буржуазных). В вопросе «военизации» населения и «военные специалисты», и «красные командиры» проявили редкое единодушие. Первый опыт «военизации» пришелся на период гражданской войны, когда была создана организация Всеобуча (Всероссийской военное обучение). Во второй половине 1920-х гг. дело «военизации» было передано в руки формально общественных организаций, созданных, возглавлявшихся и контролировавшихся ведущими советскими военачальниками межвоенного периода. В 1927 г. целый ряд таких организаций парамилитаристского характера был объединен в общесоюзное общество Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиации и химической промышленности). Именно осоавиахимовские организации, как мне представляется, объединили в себе результаты профессионального анализа опыта Первой мировой войны (тенденции развития способов ведения боя, применения боевой техники, способы мобилизации гражданского населения), смелые фантазии военных в отношении будущей войны и прагматические планы допризывной подготовки молодежи. Для гражданского населения обоих полов они стали «местом» приобщения к почетному «делу вооружённой защиты СССР (социалистического отечества)», обучения боевым навыкам и навыкам «соучастия» в защите

страны в будущей тотальной войне, «школой» героизма и любви к социалистической Родине, альтернативной (профессиональному спорту) возможностью заниматься спортом и исповедовать здоровый образ жизни.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ/СССР

История войн является важным компонентом патриотического «воспитания», представляя собой актуальную для государства, власти и общества интерпретацию таких понятий как «родина», «героизм», «нация». В образе исторических персонажей она демонстрирует вечную оппозицию «свой-чужой», формируя или актуализируя образы «врага». Можно предположить, что в момент форсированного конструирования «советского патриотизма» востребованность истории войн должна была резко возрасти. Первая мировая и Гражданская войны представляют собой два резко отличающихся феномена. Первая мировая война, будучи примером катастрофического военного поражения и национальной трагедии, была фактически предана забвению в советском государстве. В большевистском дискурсе и официальной истории 1930-х гг. Первая мировая война присутствовала как война империалистическая и несправедливая (по ленинской классификации). Национальные образцы толкования были элиминированы, уступив место марксистским интерпретациям. Одна из немногих попыток организации обсуждения опыта Великой войны, выходящего за пределы узко-профессионального круга, и призыв к формированию мемориальной культуры Первой мировой войны, исходившие от Военно-исторической комиссии, не увенчались успехом. Гражданская война, напротив, была глобально инструментализована, превращена в «миф о происхождении» Советской власти, призванный легитимировать саму власть и дальнейшее существование советского государства. В 1930-е гг., отмеченные стремлением сталинского руководства найти основу для объединения советского общества и пигмалионовым трудом по формированию советской идентичности, мифотворческая работа вокруг гражданской войны приобретает особый размах. В литературе (Щорс, Лазо, Котовский), киноискусстве (Чапаев), массовой песне (Будённый, Щорс, Орлёнок) воплощается целый пантеон «народных героев» периода Гражданской войны, каждый из которых должен был недвусмысленно пред-

лагать читателю, зрителю или слушателю схему/образ для самоидентификации. В планы ритуализированных праздничных мероприятий, приуроченных к различным юбилейным датам революции и гражданской войны, включались вечера воспоминаний красноармейцев и красных партизан. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны превратились в особую социальную группу, функции которой фактически свелись к «репрезентации» памяти о гражданской войне, а привилегии которой были законодательно закреплены (16). Несмотря на то, что усилия властей в сфере мифотворчества и «конструирования» памяти о гражданской войне не всегда совпадали с тенденциями коллективного воспоминания/забывания (17), проект создания мифа о гражданской войне можно признать успешным (детская народная игра «в Чапаева», популярность массовой песни о Гражданской войне, вышедшая за рамки сталинского периода, молодежная инициатива по организации походов «по местам боевой славы гражданской войны», широко распространившаяся по стране в 1930-е гг. (18) и др.). Интерес власти к военному прошлому России/СССР, наконец, перешагнул и границу 1917 г. — дореволюционное прошлое было также частично «реабилитировано». Эпизоды русской истории, дававшие обильный материал для героизации — Ледовое побоище или Отечественная война 1812 г. — были экранизированы, а в школьные учебники возвращены имена Александра Невского и Михаила Кутузова. «Новое» героическое прошлое СССР не было исключительно русским. В «братских республиках», особенно в таких крупных и значительных как Украина, нашлись свои «герои», имена которых вошли в общесоюзные учебники (например, князь Даниил Галицкий или Богдан Хмельницкий) (19).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА

Представляется плодотворным проанализировать советский патриотизм в рамках структуралистского подхода — как некую систему, составленную, на первый взгляд, из трудно совместимых элементов. Несмотря на эклектизм, советский патриотизм в своей завершенности представлял из себя нечто большее, чем каждый элемент в отдельности, и потому оказался достаточно устойчивым.

Архетипические (традиционные) элементы. Немецкому слависту Х. Гюнтеру удалось убедительно показать, что в середине

1930-х гг. в СССР, наряду с коммунистической идеологией формируется новый дискурс. Если воинствующий марксизм-ленинизм с его риторикой классовой борьбы, социалистической и мировой революции предназначался для презентации вовне, то новый дискурс был ориентирован в первую очередь на советских людей, представлял собой комплекс идей и способов коммуникации для «внутреннего употребления». Стержнем последнего был топос о «большой семье», экстраполированный на все сообщество людей, проживавших в СССР (20). Топос «Семьи» вобрал в себя и национальную составляющую, что эксплицитно присутствует в советском дискурсе 1930-х гг. в метафорах о «братской семье народов», «братских республиках» и др. Образ вождя мирового пролетариата, культивировавшийся в ранней Лениниане, в применении к Сталину трансформировался в образ «Отца». Визуализированный образ Сталина, как показывает анализ В. Бонелл, в 1930-е гг. всё более приобретал черты «простого человека», мудрого главы семьи (21). И даже главный персонаж Ленинианы, всё более отодвигавшийся в мифическое прошлое и принимавший черты «Предка», также переместился в общечеловеческое измерение (доброта, любовь к детям и к семье, мудрость, заботливость), что с максимальной силой проявилось в циклах детских рассказов о Ленине. Архетип Матери (топосы «Родины», «Страны», «Москвы») наиболее ярко, с точки зрения Х. Гюнтера, представлен в массовой песне межвоенного периода. По своей символике он приближался к языческим представлениям о «Земле» как о материнском начале в мире и перекликался с православной традицией почитания Богородицы, подчёркивавшей её материнскую сущность, а не постулат о девственности, более характерный для католичества. Топос «Большой семьи» по своей семантике наиболее приближается к пониманию патриотизма, основывающемуся на пересечении категорий частного мира («семья», «малая родина», «отечество») и большого территориально локализованного человеческого сообщества («страна», «родина», «нация»).

Мифологическое (героическое) в советском патриотизме. Большевицкая социальная инженерия привела в межвоенный период к усилению социальной однородности советского общества. Классовые категории, ранее лежавшие в основе «приписываемой идентичности», в 1930-е гг. всё чаще уступают место иным критериям. Будучи «детьми» одной большой страны, жители СССР имели шанс оказаться в числе «лучших сынов и дочерей», вступив в ряды ударников труда, стахановцев, став ворошиловским стрелком, полярным летчиком и, наконец, героем Советского Союза. Героическая составляющая советского патриотизма являет собой сплав мифологической

символики, романтического идеализма, нищееанства и актуальных представлений о маскулинности и фемининности. Событийный ряд, на основе которого формировалась мифология советского героизма, включает себя рекорды А. Стаханова, эпопею освобождения ледокола «Челюскин», трансатлантические перелеты В. Чкалова и Г. Байдукова, рекорды П. Осипенко и М. Расковой. После «рождения» рекорды «простых необыкновенных людей» начинали жить самостоятельной жизнью, повторяясь в ритуализированной форме и множась в геометрической прогрессии на всей территории СССР (примеры лыжных переходов, эстафет и автопробегов на Урале) (22). Советский герой воплощал собой некий идеальный тип — аскета, здорового физически и нравственно человека (мужчины или женщины), представителя народа, преодолевающего обыденность и поднимающегося над повседневностью в труде, спорте или бою. В работе освоенных организаций героизм приобретал милитаризированные черты, что в мероприятиях, имитировавших героические поступки, проявлялось, например, в использовании противогазов в ходе тяжелых зимних лыжных переходов, ударничестве в противогасах, обязательности сдачи норм по стрельбе или парашютным прыжкам для стахановцев и др. События на озере Хасан стали мощным импульсом в развитии этой тенденции, совместив образы героя и защитника Родины (пример писем молодежи с просьбой о зачислении в армию или военные училища) (23).

Социалистический (универсалистский) дискурс. Социалистическая идеология образует следующий элемент советского патриотизма, будучи неотъемлемой частью советского дискурса 1930-х гг. Практика сталинского руководства неизменно опирается на интерпретации ленинских высказываний и марксистскую риторику. Во второй половине 1930-х гг. социализм из отдаленного будущего превращается в советское «настоящее», что законодательно закрепляется советской Конституцией 1936 г. Победа социализма в отдельно взятой стране не изменила, однако, универсалистских претензий русских большевиков сталинского толка. В юбилейных выступлениях по поводу очередной годовщины Октябрьской революции, Сталин регулярно прибегает к испытанному топосу «международного значения» революции, достигая двоякую цель: во-первых, в очередной раз постулируется неизбежность социалистической революции в других странах после того, как однажды цепь капитализма уже была прорвана и, во-вторых, само существование СССР выступает как самодостаточное доказательство верности советского руководства делу мировой революции, интернационализму и мировому пролетариату. Сохраняя свою революционность для внешнего мира, социа-

листическая идея для внутреннего употребления была реинтерпретирована в сторону усиления интегративности. Ослабление антагонистичности советского общества, настойчиво пропагандировавшееся в советском дискурсе середины 1930-х гг., создавало платформу для объединения всех «граждан» СССР в рамках большой социалистической семьи. Топос «Большой семьи», уже упоминавшийся выше, создавал условия для ассимиляции социалистической идеи всеми слоями и социальными группами населения.

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ КАК ИНТЕРАКЦИЯ

Возвращаясь к ранее высказанной мысли о том, что советский патриотизм представляет собой явление, альтернативное национализму, обратим внимание на отличия этих феноменов. Если национализм чаще всего интерпретируется как идеология современного типа, то советский патриотизм видится скорее «контекстом», рамками коммуникации между властью и обществом. Эти контекст был сконструирован и предложен властью, но опирался на архетипические черты массового сознания, присущие в значительной мере традиционному мультиэтничному сообществу СССР. Несмотря на апелляцию к традиционным стереотипам и интерпретационным моделям, советский патриотизм был достаточно современен. Актуальность и современность советского патриотизма проявилась в способе, которым происходила реинтерпретация архетипических мотивов — современная социалистическая идеология, современный «прогноз» тотальной войны, и, наконец, современный технократически-милитаризированный антураж героизма. Эkleктизм советского патриотизма на самом деле обернулся возможностью для каждого гражданина СССР найти свой элемент, позволявший ему соединить своё частное бытие с «предложением», исходившим от власти. С этой точки зрения, советский патриотизм выступал как способ присвоения индивидуумом (группой) власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: *Langewiesche D.* Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. — Muenchen, 2000. S.21),

2. См.: *Oberlaender E.* Sowjetpatriotismus und russischer Nationalismus // *Kappeler A.* (Hrsg.). *Die Russen: Ihr Nationalbewusstsein in Geschichte und Gegenwart.* — Koeln, 1990. S.83–90.
3. См.: *Koselleck R.* *Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten.* — Frankfurt am Main, 1989.
4. См.: *Hildermeier M.* *Geschichte der Sowjetunion 1917–1991: Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates.* — Muenchen, 1998. S.477.
5. См.: *Bremmer J.* *Reassessing Soviet Nationalities Theory* // *Bremmer J., Taras R.* (Ed.). *Nation and Politics in the Soviet Successor States.* — Cambridge, 1993. P.3–28.
6. См.: *Baberowski J.* *Stalinismus als imperiales Phaenomen: die islamischen Regionen der Sowjetunion 1920–1941* // *Plaggenborg S.* (Hrsg.). *Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte.* — Berlin, 1998. S.113–150.
7. В середине 1930-х гг. представители последнего призыва (1898 г. рожд.), проведённого Временным Правительством, достигли возраста 36–37 лет.
8. См.: *Sanborn J.A.* *Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925.* — Northern Illinois, 2003. (Sanborn 2003).
9. По данным особой комиссии РВС СССР на 1926 г. 75% старшего комсостава были участниками двух последних войн. См.: РГВА. Ф.33989. Оп.1. Д.16. Л.5.
10. См.: *Beyrau D.* *Der Erste Weltkrieg als Bewaehrungsprobe. Bolschewistische Lernprozesse aus dem «imperialistischen» Krieg* // *Journal of Modern European History.* 2003. №1. S.96–123
11. См.: *Hagen von, M.* *Soldiers of the Proletarian Dictatorship: the Red Army and the Soviet Socialist State, 1917–1930.* — Ithaca, London, 1990.
12. Идея милиционной армии стала особенно популярной в середине 1920-х гг. и нашла своё практическое воплощение в военной реформе 1925 г., автором которой был М.В. Фрунзе. Именно тогда в СССР был введен смешанный тип армии — из территориальных и кадровых частей. Возврат к традиционной кадровой армии произошел во второй половине 1930-х гг.
13. Проблема моральной устойчивости и боевого духа армии была впервые тематизирована в трудах сотрудников Военно-исторической комиссии по изучению опыта мировой войны, созданной в 1918 г. и состоявшей из «военных специалистов».
14. См.: *Sanborn J.M.* *Op. cit.* P.58–60.
15. См.: *Hagen von, M.* *Op. cit.*
16. Эти факты можно проследить на материалах фондов бывших красногвардейцев и красных партизан. См.: Объединённый Государственный Архив Челябинской Области (ОГАЧО). Ф. Р-220. Д.696.
17. См.: *Нарский И.В.* *Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг.* — М., 2001. С.386–442,
18. См., например, материалы по организации перехода Макеевка–Перекоп: Российский Государственный Военный Архив (РГВА). Ф.39352. Оп.1. Д.10. Л.21 и др.
19. Особенностью национальных героев была их «политическая корректность» — их военные усилия в прошлом должны были быть «центростремительными», направленными на объединение с русскими землями, а не борьбу против них (пример антигероя — Мазепа). В данный момент пока трудно сказать, что более адекватно отражает ситуацию 1930-х гг.: интерпретация этой «реконструкции» национальных историй в контексте идеи: сталинский СССР — империя современного типа отсюда и положительная интерпретация «цивилизующей» роли русского ядра Московского царства или Российской империи) (см. Екельчук 2002), или как сталинскую политику создания советской мультиэтнической нации (положительные примеры прошлого в этом

случае исторически подкрепляли тенденцию к слиянию социалистических наций, особенно славянских, вышедших когда-то из общего исторического этноса.

20. См.: *Guenther H.* Der sozialistische Uebermensch: M. Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos. — Stuttgart–Weimar, 1993; Соцреалистический канон. Под ред. Х. Гюнтера. — СПб, 2000.

21. См.: *Bonnell V.E.* Iconography of Power: Soviet political Posters under Lenin and Stalin. — Berkley, 1997.

22. Центр документации общественных объединений Свердловской Области (ЦДООСО). Ф.61. Оп.2. Д.274.

23. Государственный Архив Свердловской Области (ГАСО). Ф.Р-2516. Оп.1. Д.46.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ

Х а й к о Х А У М А Н Н

Я хотел бы спросить, в какой степени анализу были подвергнуты внутриаполитические процессы (помимо того, что написано в разделе о контексте «большой» политики), а также такие события как неудавшиеся восстания в Германии, провалы в Англии и Китае и пр. в качестве шагов постепенного отказа от надежд на мировую революцию? Может быть, стоит также подумать, не следует ли в «военном поколении» больше внимания уделить поколению участников Гражданской войны. Учитывая опыт В. Спиртца, которая приняла участие в проекте «Молодежь и насилие» (руководители — Ш. Плагенборг, Х. Хауманн) и теперь работает над диссертацией, следует более дифференцированно подходить к вопросу о воспитании насилия в Красной Армии. Конечно, я бы привлек к исследованию перспективу «жизненного мира», например, рассматривая «героев» советского патриотизма или членов ОСОАВИАХИМа.

О л ь г а Н И К О Н О В А

По поводу контекста «большой» политики: область внутренней и внешней политики невозможно исключить из анализа советского патриотизма. При конструировании властного дискурса, нацеленного на единство и консолидацию населения, установление как внутренних, так и внешних границ было чрезвычайно важным. Изучение документов ОСОАВИАХИМа, возникших в связи с различными внешнеполитическими событиями (например, конфликтом с Китаем 1929 г. или войной в Испании), показывает пересечение образов внутренних и внешних врагов. Китайские генералы определялись как «белобандиты», а испанские коммунисты причислялись к «нашим». Постепенный отход от лозунга мировой революции я рассматриваю одновременно как политическое поле советского патриотизма, который теперь связывался с одной социалистической страной — СССР — а не с Соединёнными Штатами Европы.

По поводу «военного поколения»: думаю, что его деление на поколения Первой мировой и Гражданской войны мало что даст. Большинство ветеранов испытало обе войны, и их опыт вряд ли можно отделить друг от друга.

О взгляде из перспективы «жизненного мира»: этот аспект меня интересует более всего. К сожалению, я до сих пор нашла слишком мало так называемых «эго-документов», которые позволили бы приблизиться к области «субъективного» опыта. Но надежда умирает последней.

Павел КРАСНОВ, Антон ЛЕБЕДЕВ

Каково, на Ваш взгляд, соотношение двух терминов «советский патриотизм» и «русский национализм»? Не был ли советский патриотизм на определённых этапах своего существования национал-большевистским по своей сути?

Что, на Ваш взгляд, служило доминантой советского патриотизма в последние предвоенные годы (1939–1941 гг.): военная тематика, связанная в основном с гражданской войной и её героями, или сюжеты мирного межвоенного времени, делающие акцент на достижениях и преимуществах социалистического строя?

Ольга НИКОНОВА

Действительно, многие исследователи ставят между советским патриотизмом и русским национализмом знак равенства. На мой взгляд, это не совсем правильно. Советский патриотизм, как мне кажется, представлял собой официальный дискурс того времени, объединивший в себе имперские элементы, интернационализм, ориентированный в большей степени «вовне». Имперские элементы сочетали в себе как традиционные для дореволюционной России символические фигуры (для тридцатых годов — новая советская «державность», Сталин как отец народов и др.) и инновации. Инновативность в новом дискурсе описывает, на мой взгляд, термин, предложенный Терри Мартином — «affirmative action empire», то есть империя, в которой имперское начало сочетается с политикой «положительной дискриминации» национальностей. Русский национализм выходит на первый план в годы Великой Отечественной войны, когда советское руководство начинает все больше подчеркивать, что именно русский народ несет на себе основное бремя военной катастрофы.

По поводу второго вопроса: отделить «зерна от плевел», милитаризацию от романтики, идеализма, гордости за советские достижения и увлеченность спортом, на мой взгляд, довольно сложно. Две

пережитые войны и воспоминания о них превратили воинственность в один из составных элементов романтического и героического мировосприятия, характерного для части наивно-идеалистической советской молодежи.

Дискурсивно война и советский строй были связаны единым контекстом благодаря напряжённому ожиданию новой империалистической войны, воспринимавшейся как «последнее испытание» для СССР и шаг на пути к созданию новых социалистических государств.

Кармен ШАЙДЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПАМЯТИ О «ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» (1941–1945 гг.)

В одном учебнике истории для десятого класса средней школы, изданном в 1955 г., есть глава «СССР в период Великой Отечественной войны» (1), повествующая об отдельных этапах войны и важнейших сражениях от «вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР» 22 июня 1941 г. до «освобождения народов Европы» и Дня Победы 9 мая 1945 г. Согласно этому описанию, Родина была защищена благодаря прозорливому и заботливому руководству Сталина, который продолжал политику Ленина по сохранению мира и обеспечению свободы народов, особенно славянского сообщества. Военные события излагаются исходя из перспективы героической победы, а теневые стороны или индивидуальные переживания и страдания замалчиваются.

Перед нами типичный текст, отражающий официальную трактовку военных событий. В основных своих чертах она сохранилась и впоследствии, даже несмотря на переосмысление роли Сталина, начавшееся с момента «десталинизации» на XX съезде партии в феврале 1956 г. (2) Главные её компоненты — коварное нападение на мирную страну, которая сумела успешно отразить вражеский натиск, хронология, ориентированная на битвы и военные события, и миф о Родине, где коллектив героически и единодушно сплотился ради общего дела. Победа в войне привела, таким образом, не только к освобождению Европы от «гитлеровского фашизма» народом-мироносцем. Она ещё и создала фундаментальный миф о Советском Союзе как успешной модели государства, образцового в социально-экономическом отношении, невзирая на скорбь по 26,6 миллионам павших (3).

3 декабря 1941 г. жительница Москвы Ирина Эренбург (род. 1911) под впечатлением от близости наступающих немецких войск и ежедневных воздушных тревог писала в своём военном дневнике: «Я боюсь за всех и за всё» (4). События между ноябрем 1941 г. и началом Нюрнбергского процесса четыре года спустя она записывала для своего супруга Бориса Лапина (5). Он погиб на украинском фронте в первые же месяцы войны, но она не хотела этому верить, даже годы спустя вновь и вновь пытаясь узнать все обстоятельства его гибели.

Дневник Ирины Эренбург был частным, личным текстом, вероятнее всего, не рассчитанным на публикацию, писавшимся ради того, чтобы засвидетельствовать для собственного мужа пришедшую в дом повседневность войны, но, с другой стороны, и с целью осмыслить пережитое ею самой. Ирина Эренбург изображала тяготы военного быта, критически комментировала официальные призывы к стойкости и описывала свою журналистскую деятельность. Автор дневника являлась корреспондентом различных газет и по долгу службы побывала даже на фронте. Нарисованная ею картина войны повествует о людском горе, о голоде, нужде и отчаянии. Ирина Эренбург упоминает также и о важных победах советской армии, и о постоянном присутствии антисемитизма.

В 1976 г. в московском издательстве «Воениздат» были опубликованы воспоминания лётчицы, Героя Советского Союза, Марины Павловны Чечневой, написанные спустя примерно 30 лет после окончания войны (7). Чечнева рассказала о своём становлении — от юной комсомолки до добившейся больших успехов военной лётчицы 46-го гвардейского полка под командованием Марины Михайловны Расковой (8). Во время войны Чечнева совершила множество боевых вылетов на бомбардировщике и приняла участие в победном марше советских войск по Германии. Марина Павловна приглушила изображение военной повседневности, сведя его к немногим отдельным описаниям общей атмосферы. Она руководствовалась хронологией событий в местах, где воевала сама, которые, как видно, не совпадали со значительными этапами войны, такими как штурм Москвы, блокада Ленинграда или Сталинградская битва. Во вступительной цитате Чечнева отчётливо дистанцировалась от культуры памяти критического толка и обратилась к таким ценностям, как любовь к Родине, чувство долга, коллективное сознание, самоотверженность и абсолютная дисциплина. Она стремилась сделать акцент не на негативных, а на победоносных и героических страницах войны, на идее служения Отечеству (9).

Три различных предложенных здесь текста определяют общую точку, где сходятся разные отношения к событиям Второй мировой войны в Советском Союзе — «Великой Отечественной» для советской историографии. Отобранные нами примеры — лишь часть многослойной советской культуры исторической памяти о войне. Они наглядно демонстрируют различные толкования и мемуарные модели в широком поле напряжённого взаимодействия официально-политической и индивидуальной памяти. Изложив сначала свои предварительные методологические соображения и более детально описав предложенный исторический материал, я хотела бы, основываясь на личностях Эренбург и Чечневой, показать, каким образом протекали индивидуальные процессы воспоминания, и в какой мере официальные исторические образы и интерпретации служили предметом заимствования или же структурировали индивидуальные нарративы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ПАМЯТИ И АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

В многочисленных публикациях о памяти постоянно фигурируют различные модели, основывающиеся на работах Мориса Хальбвакса и исходящие из существования коллективной или культурной памяти, которая накладывает свой отпечаток на индивидуальную (10). Между двумя этими формами памяти предполагается взаимосвязь. Но исследователям пока ещё немного известно о том, как именно влияют проявления так называемой культурной памяти на индивидуальную в процессе воспоминания, и не имеет ли, в свою очередь, индивидуальная память обратного воздействия на культурный фонд. По моему мнению, культурная и индивидуальная память могут соответственно дефинироваться только как идеальные типы в целях научной обработки определённых толкований, наблюдений или интерпретаций. Поскольку для коллектива как такового не существует органичного места их аккумуляции, я рассматриваю коллектив, прежде всего, как мемориальное сообщество, в котором отражаются определённые модели памяти, не обязательно взаимно идентичные. На индивидуальном уровне память проявляется как осознанный или неосознанный процесс — такой, каким он обнаруживается в многочисленных автобиографических свидетельствах; как процесс надления смыслом фрагментарных образов памяти. Этот процесс всегда

подвергается также и влиянию социальной действительности. Вспоминание, как правило, протекает не через абстракции, но соотносится с определёнными образами и местами (не тождественными местам в топографическом смысле). Иногда оно может — осознанно или неосознанно — активироваться при помощи средств массовой коммуникации. Возникает вопрос, насколько «аутентичны» воспоминания и какой «референцией действительности» (11) они обладают, если подвержены изменениям. В каждом акте воспоминания какие-то части биографии могут оказаться совершенно забытыми, и, стало быть, определённые исторические реалии остаются незадействованными. В этой связи Габриэла Розенталь настаивает на необходимости принимать во внимание два временных уровня: историко-социальную действительность и социальную действительность индивидуумов (12). С её точки зрения, вместо того, чтобы разграничивать истину и фикцию, следует исходить из категорий пережитого, вспомненного и рассказанного: «Изыскания окажутся менее разочаровывающими, если они будут базироваться на теоретической концепции биографии как социального продукта, который конституирует не только социальную действительность, но и миры жизненного опыта субъектов, и на производном от этой концепции методе герменевтической реконструкции частных случаев. Тогда нам предоставляется шанс реконструировать условия как возникновения, так и диахронной трансляции этих реалий» (13).

Если стремиться к исследованию взаимодействия индивидуального мышления, поступков и восприятия «общества», то за отправную точку следует брать индивидуума и его жизненный мир (14). В его биографии выявляется смысловая конструкция, имеющая определённую основу в виде специфической идентичности (15). Даже если индивидуум почти всегда несёт на себе отпечаток бытующего языка, внешнего давления (как, например, в случае с самоцензурой в Советском Союзе) или различных табу, и к тому же включает в автобиографические свидетельства фиктивные элементы, он, тем не менее, не скрывается полностью за этими структурами. В его распоряжении остаются пространства для действия и альтернативные решения. Анализируя поворотные пункты, разрывы, хабитус, (дис)континуитеты, идентичности, табу, метанарративы и объекты референции в автобиографических свидетельствах, мы приближаемся к постижению реконструируемого индивидуума. Выбор тем, способ сопряжения биографических событий с повествовательной структурой, лингвистическая эго-референция в определённых речевых актах являются индивидуальными признаками и установками. Эго исследователя и исследуемого осознанно или неосознанно несут в себе определённые

многослойные модели, которые должны рефлексироваться при анализе (16).

ОФИЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПАМЯТИ

В декабре 1941 г. Московский партийный комитет по инициативе Александра Сергеевича Щербакова (1901–1945) принял решение основать Комиссию по составлению хроники обороны Москвы (17), которая в январе 1942 г. была переименована в Комиссию по истории Великой Отечественной войны АН СССР. Данному органу было поручено собирать материал по истории войны, не документировавшийся архивами, для подготовки его к публикации (18). Процесс возникновения этой Комиссии, просуществовавшей до 1945 г., до сих пор детально не исследован. Однако здесь выделяются два важных момента, которые помогут нам судить о моделях памяти и образах истории. Нападение Германии на Советский Союз, плохо мобилизованный на случай войны, 22 июня 1941 г. стало значительным историческим событием. Во вдохновляющем (даже несмотря на критику, подчёркивавшую запоздалость официальной реакции вождя) радиовыступлении Сталина, прозвучавшем спустя несколько дней после начала военных действий, защита Родины сразу обрела статус дела всего советского народа (19). Идея сбора материала, воспоминаний и документов о защите города Москвы принадлежит, вероятно, А.С. Щербакову, который в рядах большевиков прошёл Октябрьскую революцию и гражданскую войну и понимал важность нового видения истории как фактора, формирующего идентичность. В 1920-е гг. большевики приступили к созданию собственной исторической традиции, основанной на канонизированных источниках с пролетарской родословной. На этой базе к началу 1930-х гг. при Институте истории Академии наук был открыт проект «История фабрик и заводов» (20). По специальному распоряжению профессиональными историками в целях пропаганды собирались жизнеописания рабочих-передовиков, призванные олицетворять для широкой публики превращение простых людей в убеждённых, общественно активных коммунистов. Через эти автобиографии красной нитью проходила мысль о том, что героями не рождаются, но становятся благодаря самовоспитанию. Это успешное формирование традиции должно было найти своё продолжение, причём активность многих участников войны фактически основывалась на знании именно такой

популярной литературы. Мобилизационные механизмы были, следовательно, глубоко укоренены уже в самой индивидуальной манере поведения. С другой стороны, несомненно, сохранялась и большая потребность оставлять индивидуальные свидетельства, тем более что проявлялся очевидный интерес к человеческим судьбам. Это происходило вопреки господствующей цензуре, которая, впрочем, была ослаблена, особенно на первом этапе войны.

Другая форма памяти, имевшая свою традицию в культе мёртвых, — захоронение тел в общей могиле — также начала развиваться непосредственно в военные годы. Павшие солдаты погребались на месте гибели в массовых захоронениях (братские кладбища), места захоронений снабжались памятными знаками из оказавшегося под рукой материала, наносились на топографические карты и нумеровались.

Первый военный памятник возник между июнем и сентябрём 1945 г. на братской могиле в Калининграде (Кенигсберге), следующие появились в других городах, таких как Ворошиловград, Ужгород, а между 1946 и 1949 гг. — в берлинском Трептов-парке.

Центральное положение в культуре памяти о войне до сих пор занимает «День Победы» 9 мая. В 1945 г. вступила в силу полная и окончательная капитуляция Германии, подписанная 7 мая в штаб-квартире Эйзенхауэра в Реймсе и повторно 8 мая в советской ставке Берлин-Карлсхорст в присутствии маршала Жукова. Советский праздник приходится, таким образом, на следующий день после памятной даты конца войны у союзников (21). В 1948 г. 9 мая из выходного дня был превращён в один из рабочих праздничных дней и вновь сделан нерабочим лишь при Л.И. Брежневе в 1965 г., к 20-летию Победы.

Вплоть до смерти Сталина в марте 1953 г. имелось сравнительно немного официальных воспоминаний о войне, минимально задействованных в литературе или фильмах. Очевидно, Сталин не желал допустить существование рядом с собой, гениальным полководцем, других героев, а также дискуссии о совершённых им ошибках. Многие советские граждане впоследствии воспринимали войну как время внутрисоюзного мира и вновь обрётённых свобод в сравнении с пережитыми годами террора. Однако надежды на либерализацию после одержания победы не осуществились. Напротив, ветераны войны, демобилизованные солдаты и многочисленные проблемы восстановления представляли собой для власти имущих трудно контролируемый потенциал беспорядка, которому они противопоставили возобновленные с 1946 г. кампании репрессий. Претензия партии на руководящую роль была серьёзно поставлена под сомнение опы-

том 1941–1942 гг.: Советский Союз оказался плохо подготовленным к нападению вермахта, и главные стратегические просчёты повлекли за собой очень большие потери. После 1945 г. Сталин остерегался армии как конкурирующей силы.

Повороты в советской культуре памяти о войне в значительной мере соответствовали поворотам политическим. Первая волна воспоминаний, воплощенная в литературе и планируемых памятниках, прошла уже во время войны. В период до смерти Сталина обрела устойчивость вторая волна. Третья поднималась параллельно с периодом «оттепели» при Никите Хрущёве (1956–1964), затем последовала фаза неосталинизма и стагнации при Брежневе, которая продолжалась до тех пор, пока в ходе горбачёвской перестройки не стало возможным обращение к «белым пятнам» советской истории (22). Хрущёв в своём так называемом «секретном докладе» на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 г., критикуя культ личности Сталина, уделил особое внимание роли покойного вождя в войне и его промахам тех лет (23). Сталин использовал воспоминания о войне исключительно для укрепления личных позиций и утверждения своего стратегического гения, но, собственно, никогда не знал о том, что происходило на фронте, поскольку никогда там не бывал. Хрущёв легитимировал свои суждения собственным военным опытом на украинском фронте и отстаивал тезис о том, что слава принадлежит всему советскому народу, мужественно и самоотверженно защищавшему под руководством партии и армии Родину и разгромившему врага. Кроме того, в этом выступлении Никита Сергеевич подчеркнул исключительные достижения маршала Жукова, поддержавшего его в борьбе за власть со сторонниками Сталина (24). Тем самым Хрущёв не только снял табу с вопроса о роли Сталина в войне, но и открыл перспективы для новых тем в военных воспоминаниях, которые тогда же были перенесены в фильмы и получившую распространение массовую литературу. Правда, сюжеты о судьбе военнопленных, коллаборационистов, уничтожении евреев, а также точные цифры жертв войны и впредь подлежали цензуре. В 1964 г. члены Политбюро сместили Хрущёва. Его преемником стал Л.И. Брежнев, который инициировал многие ещё и сегодня сохраняющиеся места памяти и ритуалы, посвящённые войне. В значительной степени миф Победы нёс в себе идентифицирующее и дисциплинирующее воздействие на отнюдь не гомогенное и не аполитичное общество, испытывающее к тому же серьёзные экономические трудности.

Победа над гитлеровской Германией выступает как весьма действенный фундаментальный миф Советского Союза и до сих пор функционально используется для демонстрации национальной мощи.

Таким образом, в официальной советской истории существовали две важных точки референции: миф о прославленной Октябрьской революции и миф о победе над фашизмом. Они, по моему мнению, действовали в разных направлениях и затрагивали различные (поколенчески и с точки зрения наличного жизненного опыта) целевые группы. Поскольку военный миф основывался на весьма широком и многообразном опыте, он обладал более сильным воздействием, был более популярным, а тем самым и более интегрирующим и, по видимости, менее политическим, чем миф о революции и об истинном понимании коммунизма. Именно те поколения, которые пострадали при коллективизации, сталинском терроре и внутрипартийных чистках, могли обрести в военном мифе специфически советскую идентификацию.

ИРИНА ЭРЕНБУРГ

Ирина Эренбург, внебрачная дочь Катарины Шмидт и Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967), родилась 25 марта 1911 г. в Ницце. Её мать, происходившая из богатого петербургского рода, была послана в Париж для получения медицинского образования, где и познакомилась с политическим эмигрантом немецко-еврейского происхождения Ильёй Эренбургом. Вскоре она оставила родного отца Ирины и после этого жила вместе с хорошим другом Эренбурга, социалистом-революционером Тихоном Ивановичем Сорокиным. Ирина долгое время считала его отцом, пока не узнала из переписки свою семейную историю. В начале Первой мировой войны патристически настроенная Катарина Шмидт вернулась в Россию к своим родителям. После Октябрьской революции её маленькая семья бежала от большевиков на юг — в Тифлис, Владикавказ, и затем осталась на Северном Кавказе. Здесь Катарина, работая учительницей и сильно бедствуя, в одиночку растила уже троих детей. Бегство, голод и страдание вместе с ясным ощущением чужеродности городского человека в деревне — таков опыт, запечатленный этими детскими годами в воспоминаниях Ирины Эренбург.

В 1921 г. семья возвратилась в Петербург, где Ирина, несмотря на то, что брала частные уроки, так и не выдержала вступительный экзамен в государственной школе. В 1922 г. она отправилась в Москву к своему родному отцу, сменившему к тому времени несколько мест жительства за рубежом — в Париже, Бельгии и Берлине. За

Ириной последовали мать и отчим Сорокин, работавший в Торгсине (Всесоюзном объединении для торговли с иностранцами) (25). В 1923 г. Ирина в возрасте всего лишь двенадцати лет поехала получать дальнейшее образование в Париж. Там она проводила время, в основном, в обществе русских эмигрантов и интенсивно читала русскую и французскую литературу. Сохранив связь с родиной и очарованная новой, революционной жизнью страны, особенно в её пульсирующем, быстро меняющемся центре, в 1933 г. она снова возвращается в Москву. Там она недолгое время, ещё до прикрытия «лженауки», работала психологом в Обуховском институте. Ирина была вынуждена навёрстывать упущенное во время учебы за рубежом, где не было идеологизированного диалектического материализма. Благодаря знаниям языков и литературы и, вероятно, не без помощи родства с Ильёй Эренбургом, Ирина впоследствии зарабатывала себе на жизнь переводами и журналистикой. Она была переводчицей на первом писательском конгрессе, проходившем с 17 августа по 1 сентября 1934 г. Эта новая деятельность избавила её от растущей в то время безработицы и позволила приобщиться к миру знаменитых литераторов, таких как Поль Низан, Оскар Мария Граф и Виктор Шкловский, с которыми Эренбург познакомилась во время поездок.

26 декабря 1934 г. она вышла замуж за Бориса Лапина. Насколько сильный отпечаток наложили на Ирину многие из тогдашних советских идеалов, показывает её образ жизни и само представление о браке. Ирина была воодушевлена образом новой женщины, стремящейся к свободе, независимости и самостоятельности, поэтому оба супруга, согласно законодательству, просто зарегистрировали отношения в ЗАГСе, сохранив собственные фамилии и даже сочтя уместным раздельное проживание (26). Такой революционный жизненный проект показался вскоре слишком утомительным, и в 1935 г. Ирина и Борис всё же решили переехать в коммунальную квартиру. Выбор определялся как реальной нехваткой жилья в стране, так и идеологическими соображениями: коммунальная квартира, казалось, соответствовала коллективизму времени со свойственными ему специфическими групповыми конфликтами (27). В своих воспоминаниях Ирина оценивала это решение как отступление от коммунистического образа жизни в сторону буржуазного.

Опыт, приобретённый Ириной в эпоху высшего расцвета сталинизма, амбивалентен; он оттенён многими оценками более позднего времени. С одной стороны, эти годы лично для неё должны были являться счастливым временем прочного семейного партнёрства, новых профессиональных начинаний и чувства жизненной полноты,

частью революционного эксперимента. Хотя в Москве 1930-х гг. постоянно не хватало товаров первой необходимости (28), Ирина воспринимала тогдашнее снабжение как явно отличающееся в лучшую сторону от голодных лет военного коммунизма. К тому же, она вращалась в кругу выдающейся, захватывающей воображение интеллигенции и сама была ещё сравнительно молода. Но уже тогда Ирина на собственном опыте познавала одну за другой все теневые стороны сталинизма, сгущающиеся в её памяти до отчётливо негативной картины террора.

Рассматриваемые здесь мемуары Ирины Эренбург писались между 1991 и 1993 гг., в период, когда в России прошла первая волна критического проторазоблачения сталинизма и советской истории, захватившая широкую публику. Благодаря своему отцу и окружающей его социальной среде Ирина не позднее чем с середины 1950-х гг. постоянно вовлекалась в дискуссии по поводу террора и реабилитации его жертв. Один из конкретных поводов возник в связи с её лучшей подругой по временам парижского студенчества, Наташей Столяровой, которая в конце 1938 г., примерно через год после своего возвращения в Советский Союз, была брошена в лагерь, где находилась вплоть до массовых освобождений лагерных заключенных середины 1950-х гг. Тогда в качестве секретарши Ильи Эренбурга она смогла начать новую жизнь и выступить в поддержку реабилитации жертв террора.

Вновь и вновь Ирина Эренбург контактировала с НКВД, впоследствии КГБ: по всей видимости, на неё и, особенно, на её отца, на основании многочисленных зарубежных поездок скрупулёзно собирался материал. Ирина позднее смогла частично просмотреть эти дела и вынуждена была констатировать, что её отцу в 1950-е гг. грозил арест, и что сама она лишь по счастливой случайности избежала судьбы Наташи Столяровой. В 1936 г. НКВД безуспешно пытался завербовать Ирину в качестве агента, которому полагалось шпионить за своим отцом. Как следствие власти не разрешили ей поездку в Париж. В 1938 г. состоялся судебный процесс Николая Бухарина, близкого друга Ильи Эренбурга ещё с дореволюционного времени. Писатель, только что вернувшийся с гражданской войны в Испании, должен был принять в нём участие. Ирина Эренбург вспоминает реакцию своего отца, который после процесса не мог и не хотел говорить, три дня оставаясь безмолвным в своей квартире. Так или иначе, все были в курсе того, что происходит. Ирина и её муж в эти годы террора замечали во время посещений кафе, как исчезает всё больше людей, включая их собственных знакомых.

«В вину обвиняемых мы никогда не верили, однако всегда пытались найти приемлемое объяснение тому, почему они были аре-

стованы... И никто не верил в то, что все это было известно Сталину. Я тоже не верила. Сила преданности была столь велика, что все думали, будто Сталин ничего об этом не знает» (29). Лишь благодаря XX съезду партии в феврале 1956 г. и последующих попыток преодоления прошлого Ирина взглянула на пережитые ею негативные события как на часть большой системы подчинения и террора, и это заняло центральное место в биографической ретроспективе. Говоря о смерти диктатора в 1953 г., она устанавливает связь между этим событием и одним личным переживанием: её любимая собачка мучилась от родовых схваток, и Ирина была вынуждена убить будущих щенков, которые никак не могли родиться, чтобы спасти жизнь их матери. «Таким образом, у меня не было времени скорбеть, когда умер Сталин» (30), — фраза, которая подчёркивает дистанцирование от официального советского мифа.

Эпизоды военных лет в значительной степени основываются на воспроизводимом в приложении к мемуарам дневнике и изображают трагический переломный момент биографии, когда муж Ирины, отправленный в Киев, погиб там уже в первые месяцы войны. Попытки восстановить обстоятельства его смерти и составить для себя более точное представление о произошедшем долгие годы двигали Ириной, как и многими другими родственниками павших на войне. В минуты отчаяния она даже думала о самоубийстве. Вместе с окончанием войны в 1945 г. надежда вновь увидеть мужа умерла: «Сегодня капитуляция Германии. Весь мир торжествует... А я плачу. Я знала, что конец войны станет для меня очень болезненным. Боря не видит его... Я — старая вдова, старуха» (31).

Ирина видела войну не только в Москве, но и во многих местах боевых действий, поскольку выезжала туда и писала репортажи для различных газет, таких как «Красная звезда», «Уничтожим врага» (32), «Комсомольская правда», для Радио Франции, Совинформбюро и Минздрава.

Первая поездка на фронт, возможно, в конце 1941 — начале 1942 г., стала не только очень близким столкновением с германским врагом, но и моментом непосредственного переживания смерти на войне: рядом с Ириной был убит один солдат-киргиз, и она видела его изувеченное тело. Эта ужасная картина, казалось, была выжжена из памяти. Позже фотография и сделанная в окопе почти неразборчивая блокнотная запись помогли её восстановить. Ирина Эренбург видела, прежде всего, теневые стороны войны — страдание, разрушение, хозяйственный дефицит, особенно в снабжении фронтовых частей и полевых лазаретов. Но в то же время она наблюдала среди участников войны и большое стремление выстоять, и их импровизаторский талант.

Весной 1942 г. Эренбург посетила мать новой героини, ставшей советской легендой, Зои Космодемьянской (1923–1941), партизанки, которая была повешена фашистами (33). Из целой группы партизанок Зоя была выбрана, скорее всего, случайно, но это обстоятельство помогло её бедной семье улучшить жилищные условия. Уже в военном дневнике Ирина критически комментировала «рождение героини», указывая на инсценированность истории Зои, чья судьба подгонялась под киношные стандарты, оборачивалась «обыкновенной ложью» (34). В более поздние годы, ещё раз перечитывая собственную статью как материал для воспоминаний, Эренбург назвала проблемой цензуру, господствовавшую во время войны (35).

И всё же корреспондентская деятельность Ирины показывает, что для военного репортажа существовала относительная свобода, что патриотизм часто основывался на собственном опыте преодоления внешней угрозы, а индивидуум мог быть описан с его персональными ценностными представлениями (36). Тесный контакт с видными советскими военными корреспондентами Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом — оба они также были задействованы Еврейским Антифашистским Комитетом (ЕАК) — позволял Ирине принимать участие во многих событиях и иметь дело с различными материалами, например, с солдатскими письмами. Конфронтация же начиналась, когда затрагивалась очень важная тема её воспоминаний — проблема антисемитизма в Советском Союзе. В еврействе Ирина не видела для себя идентифицирующего импульса, поскольку сама она не была религиозна и не говорила на идиш или на иврите. Но, дочь еврея, она всё же осознавала себя сильно связанной с еврейством как культурой и как дискриминируемым меньшинством, особенно в свете холокоста и антисемитизма (37). 3 июля 1943 г. Эренбург занесла в дневник короткую заметку с ключевым словом «антисемитизм» о закрытии газеты «Уничтожим врага» (38). 22 октября того же года она записала впечатления Гроссмана и Эренбурга, которые после своего возвращения из Киева рассказывали об убийстве там 52 000 евреев, подразумевая, очевидно, события в Бабьем Яре. В 1944 г. Ирина встретилась со свидетелями восстания в вильнюсском гетто и после этого посетила разрушенный город. Вблизи Каунаса она увидела следы недавнего уничтожения лагеря — горы детских ботинок, женских волос и игрушек. Эти картины потрясли молодую женщину. Впечатления от них она попыталась обобщить в одной из первых своих статей. Темы уничтожения евреев, войны и антисемитизма сопровождали Эренбург всю последующую жизнь и, видимо, очень занимали её мысли. Вскоре после возвращения из Литвы она встретила в Москве еврейскую девочку-сироту Фаню из Дубровицы (на

Украине), которой удалось добраться до столицы благодаря отцу Ирины. Семья Фани была сначала загнана немцами в гетто, а затем расстреляна. Девочка сумела убежать и найти приют у одного сапожника-старовера, жившего в Западной Украине. Он показал Фане в лесу тело её убитого отца. Девочка была тяжело травмирована постигшей её судьбой. Один лишь раз Фаня смогла рассказать эту историю, чтобы затем забыть её так же, как языки своего детства (польский, белорусский, украинский, идиш). Для Ирины, напротив, это стало следующим поворотным пунктом в её жизни. Она очень ясно вспоминала рассказанную Фаней историю в своих более поздних заметках. Их встреча закончилась официальным удочерением Ириной девочки-сироты. В противоположность Фане Ирина ощущала себя русской, а не еврейкой, но до самого момента записи мемуаров она противостояла антисемитским предрассудкам, которые особенно проявлялись в отношении этой девочки. После распада Советского Союза они побудили Фаню к отъезду в Израиль.

Ирина Эренбург совсем не упоминает в автобиографических записях свою важную роль в издании «Чёрной книги» о нацистском геноциде советских евреев, которая осталась в литературном наследии её отца и пробилась к читательской публике очень непростым путём и достаточно поздно. Ириной были подготовлены к печати многие из собранных свидетельств об антисемитизме и уничтожении евреев на территории Советского Союза времён Второй мировой войны (39).

Сравнительно немного сообщает Ирина Эренбург о послевоенных годах. Она доводит рассказ до похорон своего любимого отца и возвращается к эпизодам, связанным с её бабушкой, дедом и матерью, а также даёт краткий комментарий перестройке и явно ухудшившимся условиям жизни стариков, несмотря на новые, казавшиеся прежде недостижимыми свободы.

Каким образом Ирина Эренбург решилась написать столь многогранные мемуарные записки? Ведь ранее она считала собственную жизнь не вполне пригодной для подобного описания, предпочитая оставить свидетельство о своём знаменитом отце? (40). Берлинская переводчица Антье Лец, знакомая с Ириной много лет, в период 1991–1993 гг. взяла у неё несколько интервью, которые впоследствии перевела и издала. Вопросы Антье Лец в тексте не воспроизводятся, но именно реплики интервьюера были тем коммуникационным средством, которое вызывало Ирину Эренбург на разговор (41). Формат интервью определил отчасти хронологическую, отчасти систематическую структуру повествования. Причём его ориентиры составляют этапы советской истории, социальные категории, такие как

образование и происхождение, личная жизнь и ментальная топография повседневности, то есть различные места пребывания и проживания. Откровенные размышления о собственной жизни были бы, наверное, немислимы для Ирины без контекста перестройки. Пусть приватно, Эренбург, вероятно, постоянно думала о том, что владеет литературным наследием своего отца (она была его единственным ребенком), а также и личными документами, среди которых фотографии, письма, газетные статьи, дневники и записи о пережитом. Благодаря обработке «Чёрной книги» Ирина Эренбург получила доступ ко множеству автобиографических свидетельств и осознала их ценность для истории. Однако свой собственный военный дневник она вручила Антье Лец относительно поздно, лишь в конце записей интервью весной 1993 г. Эренбург попросила Лец принять его, поскольку это — подлинный документ времени, важная часть её жизни (42). Возможно, Ирина Эренбург смогла преодолеть самоцензуру благодаря предоставленным перестройкой новым коллективным возможностям преодоления прошлого в России. Вероятно, однако, и то, что во время самого процесса воспоминания она впервые осознала масштаб реального документа периода войны, не сводившегося к простому репродуцированию различных мифов. Издатель сделал дневник приложением к воспоминаниям Эренбург и открыл этим для широкой публики.

МАРИНА ПАВЛОВНА ЧЕЧНЕВА

Марина Павловна Чечнева родилась в рабочей семье, вероятно, в 1922 или 1923 г. В школьные годы Марина много слышала о выдающихся достижениях советских летчиц, которые настолько её увлекли, что она сама захотела стать пилотом. В 15 лет Чечнева вступила в комсомол и попыталась записаться в аэроклуб при ОСОАВИАХИМе (Обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР, 1927–1948 гг.), но из-за слишком юного возраста ей удалось осуществить задуманное только год спустя. В августе 1939 г. она совершила свой первый самостоятельный полет и закончила обучение пилотажу осенью того же года. Чечнева решила стать профессиональной летчицей, точнее, летчиком-истребителем. Поскольку это специальное образование можно было получить только в военном училище, куда женщины не принимались, она попыталась достичь соответствующей подготовки в рамках

доступной тогда для женщин гражданской обороны (43). Знаменитая летчица и героиня русской авиации Марина Раскова (1912–1943), которой в 1938 г. было присвоено лично Сталиным звание «Герой Советского Союза», явилась не только примером для жаждущей приключений Чечневой, но и стала одной из её наставниц. Всю войну Чечнева прослужила в 588-м полку ночных бомбардировщиков, переименованном в феврале 1943 г. в феврале 1943 г. в 46-й гвардейский (44).

Начало войны она застала, находясь в отпуске в Крыму, и поэтому в своих воспоминаниях описала этот период кратко. Чечнева отмечала некоторые имевшиеся сначала моменты хаоса, считая, что война состоит не только из побед. Политические и военно-стратегические вопросы ведения войны не стали главной темой воспоминаний Марины Павловны. До начала 1942 г. она продолжала свою лётную подготовку, а весной 1942 г. впервые оказалась на фронте — на южном, кавказском направлении. В довольно простых, открытых машинах, сделанных из фанеры и парусины и не имевших в комплекте парашюта или огневых средств, летчицы должны были сбрасывать бомбы, преимущественно ночью. С началом боевых вылетов женщины пережили первые потери в своих рядах. Оба эти события совпали по времени и имели большое личное значение для Чечневой, почему она и вспоминала о них как о важных и структурирующих повествование случаях. При последующем оформлении текста Марина Павловна постоянно возвращалась к этой модели личных переживаний, наполненных значением для её собственной жизни или внутренней жизни женского лётного полка. Своё первое боевое крещение Чечнева связала с трауром по погибшим боевым подругам, которым хотела создать памятник в форме воспоминаний (45). Она подчёркивала их героизм, поясняя, что чувство долга перед Отчиной формировалось не только военной необходимостью, но и стремлением к жертве ради высшего дела. Чечнева явно пыталась осмыслить события так, как они подавались в официальной культуре памяти.

В сентябре 1942 г. летчицы получили первые награды. Такие материальные реликты, как ордена, медали, знамена, фотографии и газетные вырезки стали для Чечневой побуждениями к воспоминаниям. Как было сказано выше, в феврале 1943 г. полк был переименован в гвардейский. 4 января 1943 г. в авиакатастрофе погибла Марина Раскова. Кульминационным и переломным моментом в войне Чечнева считала победу под Сталинградом, после которой летом 1943 г. участвовала в воздушных боях над Кубанью. В декабре, когда войска праздновали очередной успех, Марину Павловну захва-

тило врасплох известие о смерти отца, всегда бывшего для неё примером. Последний этап войны, вытеснение германских войск с советской территории и наступление на Берлин, Чечнева переживала очень интенсивно. Она с торжеством наблюдала решающие бои против фашистов в мае 1944 г. 30 января 1945 г. стало для Чечневой днем вступления на территорию Германии, что вызвало весьма амбивалентные чувства по поводу ненавистных врагов, разорителей советской Родины и военных противников. Вместе с тем она пыталась, по крайней мере, спустя годы, в воспоминаниях представить немцев людьми, которые, как гражданские лица, особенно женщины и дети, тоже пострадали от войны (46). Конец войны Чечнева встретила на Одере.

С началом послевоенного времени фронтовые переживания сменились переживаниями частной жизни. После расформирования гвардейского полка и демобилизации Чечнева в ноябре 1945 г. вышла замуж за летчика Константина Давыдова. В августе 1946 г. появилась на свет их дочь. Муж погиб в ноябре 1949 г., совершая полёт из Ленинграда в Москву. Эта трагедия ввергла Чечневу в глубокий личный кризис. Подобно большинству воевавших женщин, она не смогла продолжить военную деятельность в мирное время, когда восстановилась традиционная иерархия полов (47). Поэтому Чечнева стала работать в гражданской авиации мастером высшего пилотажа при ДОСААФ (Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту), однако в 1956 г. на основании медицинского заключения вынуждена была прекратить полёты (48). В это время был создан Советский комитет ветеранов войны (49) во главе с бывшим лётчиком Алексеем Маресьевым (1916–2001) (50). Туда, возможно, также входила и Чечнева, поскольку лётчицы составляли группу особенно активных ветеранов. Какую роль Марина Павловна играла среди членов данного Комитета, и что значила для неё эта организация, остается пока неясным. Вероятно, как активный ветеран Чечнева выступала с рассказами о своём боевом опыте в Политехническом музее в Москве и перед студентами МГУ. В 1961 г., в двадцатую годовщину начала войны, она начала публиковать тексты своих воспоминаний (51).

В этих повествованиях Чечнева указывала на два оказавших на неё влияние прототипа: роман «Как закалялась сталь» Николая Островского (1904–1936) и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (1908–1981). Роман Островского в редакции 1935 г. относился к числу советских бестселлеров, к которым позднее была причислена и книга Полевого. Оба произведения живописали становление героя, причём Полевой использовал сюжет о раненом, не

подавшемся страху военном лётчике. Видимо, эти образцы подвигли Чечневу на собственные литературные переработки, поскольку рассматриваемая здесь книга тоже является героическим мифом в жанре романа становления.

Какое значение имела война для этой женщины? Чечнева приняла решение стать летчицей в 16 лет, т. е. совсем юной. Как и многие другие, во время учебы она являлась членом комсомола и гордилась этим. Лётчицы представлялись ей обладательницами образцового социального опыта. Чечнева постоянно подчёркивала сплоченность, идеологически возводимую ею к официальному лозунгу комсомола: «Один за всех — все за одного» (52). Возможно, однако, её позднейшие оценки определялись не только воспитанием, но и опытом войны, позволившим женщинам почувствовать себя единой группой (исключительно женский полк так и остался единственным в советской военной истории). После окончания войны пережившие её регулярно встречались, делились воспоминаниями и новостями (53). Вероятно, после войны Чечнева уже никогда больше не переживала такого глубокого чувства сплочённости, дружбы и взаимного расположения, как в летном полку. В боях она потеряла нескольких близких подруг и людей, очень значимых для неё как вдохновляющие примеры — Марину Раскову и Женю Рудневу (54). Сохранение памяти об этой группе Чечнева превратила для себя в одну из центральных жизненных задач. Эти воспоминания не совпадали с официальной мемуарной моделью, прославлявшей, главным образом, военные заслуги мужчин. В книге «Небо остаётся нашим» Чечнева исходит из лично пережитого, постоянно связывая его со своей группой.

В биографии Чечневой военные годы изображались как чрезвычайно насыщенное, значительное время. Тогда произошло её профессиональное становление и формирование чувства общественной сопричастности. Марина Павловна с риском для жизни вынесла многочисленные бои, видела много горя и разрухи и смогла принять активное участие в разгроме Красной Армией фашистских захватчиков. Она принадлежала к поколению победителей, была многократно награждённой героиней — впрочем, кажется, заплатившей за это высокую цену в гражданской жизни. Вскоре после войны Чечнева была демобилизована, её семейное счастье длилось недолгих четыре года, и уже в тридцать с небольшим лет она вынуждена была оставить авиацию, возможно, из-за обусловленных профессией болезней.

Что оставалось поколению победителей? Очевидно, немногим большее, чем воспоминания, которые Чечнева ставила в один ряд с мифами о Победе и героях, об успешной защите Отечества. Она, сама

став частью мифа, ощущала это именно таким образом. Но одновременно Марина Павловна вспоминала заслуги женщин, которые сами выбрали свой путь и которые были, как и все прочие, образцовыми комсомолками. Чечнева лишь косвенно упоминала, что с женщинами в армии не обращались как с равными, что на них смотрели как на «что-то особенное». Не жалуется она и на почти исключительно мужской командный состав, упражнявшийся в критике по поводу плохо сидевшей на женщинах формы (причём обмундирования, подходящего для женщин-военнослужащих, часто не было в наличии), или при увольнении в запас изображавший лётчиц, несмотря на их выдающиеся лётные достижения, неспособными к службе.

Третья объясняющая модель в воспоминаниях Чечневой намечала преемственность между советской авиацией 1930-х гг. и достижениями в космосе. Марина Павловна с восхищением вспоминает Юрия Гагарина (1934–1968). Гагарин, как и она, был лётчиком-испытателем, совершил первый пилотируемый космический полёт 21 апреля 1961 г. и, так же, как муж Чечневой, погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 г. Заглавие её книги — «Небо остаётся нашим» — звучит почти как программное в двоякой перспективе. Одна сторона касается покорения советской властью космоса, с чем далее связывалось восхваление победы и народа-мироносца; с другой стороны, книга призвала хранить память о накопленном опыте и больших заслугах лётчиц (даже если буквально этот призыв в тексте Чечневой отсутствует). Подвиги Юрия Гагарина при пилотировании им космического корабля оказывались логическим продолжением достижений советских лётчиц, или, в иной формулировке, если бы не технические успехи лётчиц, то полет Гагарина был бы невозможен.

Неясным остается для меня вопрос о восприятии Чечневой личности Сталина, о котором у неё не говорится ни слова. Высшую властную и контролирующую инстанцию олицетворяет в повествовании коммунистическая партия, что соответствует историческому образу, принятому после XX партийного съезда. Чечнева однако умалчивает о том, что при Брежневе всё-таки явно имела место попытка реабилитации Сталина.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В заключение я хотела бы ещё раз обратиться к вопросу о взаимодействии индивидуальной и коллективной памяти в связи с разобранными выше примерами. При анализе исторического материала можно разрабатывать различные слои памяти, позволяющие судить о процессе воспоминания. К тому же внутри повествования в форме поворотных моментов или разрывов существуют образы, включенные в него особым способом или эмоционально маркированные. Они оказываются очень близки к вспоминаемому событию благодаря своей значимости. Эти образы, возможно, вспоминаются в относительно неизменном виде вследствие чувственно-телесного восприятия (55). Воспоминания не только являются усвоенными и репродуцируемыми автобиографическими свидетельствами, но и основываются на индивидуальных хронологиях событий с различными уровнями референции, избираемыми самим повествующим субъектом.

Ирина Эренбург описывала историю, отклоняющуюся от официальной культуры памяти. Чечнева в своём подгоняемом под шаблон тексте следовала типу истории, изображающей героев и победу. Два мемуарных свидетельства различаются не только способом изложения событий и временем возникновения, но и имеют различное значение в рамках автобиографии авторов.

Ирина Эренбург связывала события мировой войны со своим опытом переживания Гражданской войны, добавляя к этому принципиальную критическую позицию в отношении Советского Союза и интеллектуальное противостояние преступлениям сталинизма и антисемитизма. Война для неё означала, прежде всего, личную утрату — потерю мужа, а также удочерение еврейской девочки-сироты. Официальные военные воспоминания Эренбург воспринимала как инсценированный пропагандистский спектакль, в котором для её опыта не оставалось места. Она хранила свои воспоминания до тех пор, пока вследствие изменившейся социальной и политической обстановки в начале 1990-х гг. не появилась возможность поделиться ими, не опасаясь негативных последствий. Благодаря общению с отцом Ирины Эренбург и другими представителями критически мыслящей интеллигенции из отдельных проявлений частного опыта сформировалась коллективная память группы, которая несла в себе воспоминания об уничтожении советских евреев. Эта память сохранялась Ириной Эренбург столь долго, пока, наконец, уже после исчезновения авторитарной культуры памяти, не сумела обрести публичность

в издании «Чёрной книги». Насколько способствовал архивации материалов и воспоминаний гендерный аспект — то, что Ирина как женщина находилась в меньшей опасности, чем её отец — должно стать предметом дальнейшего исследования.

Для Чечневой война означала волнующий, кульминационный пункт биографии. Война аккумулировала опыт её молодых лет, формирующий характер. Логично, что Марина Павловна — представитель «поколения победителей» — вспоминала о войне в героическом и авантюрном духе. Официальную трактовку она воспринимала как смыслообразующий и структурирующий элемент истории собственной жизни, тем самым наделяя собственное бытие высоким предназначением, контрастирующим с тяжёлым опытом послевоенного времени. К тому же, в своей повествовательной манере Чечнева следовала расхожим литературным образцам и обязательной советской художественной эстетике, в то время как Эренбург выбрала иной автобиографический нарративный тип и снабдила свой текст документальным приложением. Чечнева восприняла господствующие табу и практиковала самоцензуру, однако внимательное чтение её текста указывает на амбивалентное отношение к мейнстриму и на самостоятельность позиции, например, в случае с замалчиванием роли Сталина. Собственно, сама личность Чечневой — достигшей многих успехов лётчицы — опровергала установку о мужчине-герое войны и потенциально переключала внимание на специфически «женские» вопросы, такие как неравенство в сфере образования и вынужденное замалчивание женских военных заслуг. Из повествования Чечневой становится очевидной и проблема ветеранов войны, стремящихся найти место в послевоенном обществе. С одной стороны, Марина Павловна является популяризатором мифологии официальных военных мемуаров. С другой стороны, она демонстрирует существование в Советском Союзе групповой памяти, конкретно — воспоминаний лётчиц, которые за пределами своей группы не нашли широкого признания.

В официальной культуре памяти война выполняла важную функцию фундаментального мифа о могуществе Советского Союза, который с момента «десталинизации» наряду с революционным мифом легитимировал власть партии. Учрежденные при Брежневе ритуалы развивали советские традиции праздничных торжеств и официальных инсценировок власти, но одновременно конструировали государственное, межнациональное, межпоколенческое «воображаемое сообщество», которое уклонялось от рассмотрения насущных социальных проблем и год от года погрязало в самоодобрении.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. История СССР. Часть третья. Учебник для 10 класса средней школы /Под ред. проф. А.М. Панкратовой. — Москва, 1955. С.366–403.
2. *W. Fickenscher (Hg.). Die UdSSR. Enzyklopaedie der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken.* — Leipzig, 1959. S.288–295.
3. *E. Zubkova.* Die sowjetische Gesellschaft nach dem Krieg. Lage und Stimmung der Bevoelkerung 1945/46 //Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte. 1999. Bd.47. S.363–383, см. S.364.
4. *I. Ehrenburg.* So habe ich gelebt. Erinnerungen aus dem 20. Jahrhundert. — Berlin, 1995. S.117–169, см. S.122.
5. Борис Матвеевич Лапин, писатель и востоковед, родился 30 мая 1905 г. в Москве и погиб в сентябре 1941 г. под Киевом.
6. Указ о присвоении звания вышел 18 апреля 1934 г.
7. *Чечнева М. П.* Небо остаётся нашим. — М, 1976. Немецкое издание: *Tschetschnewa M.P. Der Himmel bleibt unser.* 2. Aufl. — Berlin, 1989 (1. Aufl. 1982).
8. Марина Михайловна Раскова, урожденная Малинина, была весьма привлекательной личностью, поставила два мировых рекорда по дальности полёта и пережила десятидневные скитания по тайге после авиационной катастрофы В Советском Союзе 1930-х гг. она была популярной «звездой» и кумиром многих юных девушек. См.: *K.J. Cottam.* Soviet Women Soldiers in World War II. Three Biographical Sketches //Minerva. Quarterly Report on Women and the Military. 2000. Vol.18. No.3–4. P.16–37.
9. *M.P. Tschetschnewa.* Der Himmel bleibt unser. S.37–38.
10. *M. Halbwachs.* Das kollektive Gedaechnis. — Stuttgart, 1967; *J. Assmann.* Das kulturelle Gedaechnis. Schrift, Ennnerung und pohtische Identitat in frahen Hochkulturen. — Muenchen, 1992.
11. Это понятие использует У. Юпайт: *U. Jureit.* Konstruktion und Sinn. Methodische Ueberlegungen zu biographischen Selbstbeschreibungen //V. Aegerter (Hg.). Geschlecht hat Methode. Ansätze und Perspektiven in der Frauen- und Geschlechtergeschichte. — Zuerich, 1999. S.49–58, см. S.51.
12. *G. Rosenthal.* Die erzaehlte Lebensgeschichte als historisch-soziale Realitaet. Methodologische Implikationen fuer die Analyse biographischer Texte //Berliner Geschichtswerkstatt (Hg.). Alltagskultur, Subjektivitaet und Geschichte: zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte. — Muenster, 1994. S.125–138, см. S.128.
13. *G. Rosenthal.* Die erzaehlte Lebensgeschichte als historisch-soziale Realitaet. S.131.
14. По поводу концепта «жизненный мир» (Lebensweli) см.: *H. Haumann.* Lebensweltlich orientierte Geschichtsschreibung in den Juedischen Studien. Das Basler Beispiel //Klaus Hoedl (Hg.). Juedische Studien. Reflexionen zu Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Feldes. — Innsbruck, 2003. S.105–122.
15. *U. Jureit.* Konstruktion und Sinn. S.54: «Мы не можем классифицировать биографические смысловые конструкции как истинные или ложные, но видим нашей задачей раскрыть их как сконструированный синтез жизненного опыта». О понятии «идентичности» см.: *J. Straub.* Personale und kollektive Identitaet. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs //Aleida Assmann (Hg.). Identitaeten. Erinnerung, Geschichte, Identitaet. Bd.3. — Frankfurt a. M., 1998. S.73–104.
16. *O.G. Oexle.* Was ist eine historische Quelle //Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts fuer europaeische Rechtsgeschichte. 2004. H.4. S.165–186.
17. *А.А. Курносков.* Воспоминания-интервью в фонде Комиссии по истории Великой Отечественной войны Академии наук СССР (Организация и методика собирания) //Археографический ежегодник за 1973 год. — М, 1974. С.118–122. Щербаков руководил Совинформбюро (Советским информационном бюро, созданным 24 июня 1941 г. в Москве как центральное учреждение печати по вопросам информации

и пропаганды в период войны) и являлся одним из главных идеологов компартии в военное время. Он имел многочисленные награды и удостоился чести быть похороненным у кремлёвской стены.

18. Комиссия существовала под разными названиями и была распущена в 1945 г. См.: *Н.С. Архангородская, А.А. Курносов*. О создании Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР и её архива (к 40-летию со дня образования) // Археографический ежегодник за 1981 год. — М., 1982. С.219–229.

19. См. об этом свидетельства современников: *Alexander Werth*. Russland im Krieg 1941–1945. — Muenchen, 1965. S.132–137.

20. *С.В. Журавлёв*. Феномен «Истории фабрик и заводов». Горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х годов. — М., 1997.

21. «День Победы» восходит к указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. Он должен был отмечаться как «день торжества советского народа» в память об одержанной победе. 3 сентября также периодически праздновалось как «День победы» над Японией.

22. В речи к 70-й годовщине Октябрьской революции Михаил Горбачёв пообещал заполнить «белые пятна» в советской истории и тем самым запустил механизм критического преодоления прошлого. См.: *M. Rozanski*. Geschichte: Antworten auf nicht gestellte Fragen // *Klaus Segbers* (Hg.). Perestrojka Zwischenbilanz. — Frankfurt a. M., 1990. S.345–366.

23. Chruschtschows «Geheimrede» vom 25. Februar 1956 // *Reinhard Crusius* (Hg.). Entstalinisierung. Der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen. — Frankfurt a. M., 1977. S.487–537.

24. *V. Naumov*. Der «Fall Žukov». 1957 // Forum für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte. 2001. Bd.5. Nr.1. S.51–116.

25. Когда точно Илья Эренбург вернулся в Москву и произошло ли это действительно только в 1923 г., неясно.

26. *W.Z. Goldman*. Women, the State and Revolution Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936. — Cambridge, 1993.

27. *Ph. Pott*. Zu Hause nie allein. «Kommunales» Wohnen // *Monica Ruethers* (Hg.). Moskau, Menschen, Mythen, Orte. — Koeln, 2003. S.92–99.

28. *C. Scheide*. Staedtisches Alltagsleben // *Eva Maeder* (Hg.). Utopie und Terror. Josef Stalin und seine Zeit. — Zuerich, 2003. S.103–112.

29. *I. Ehrenburg*. So habe ich gelebt. S.62.

30. Ibid. S.63.

31. Ibid. S.165–166. Запись от 8 мая 1945 г.

32. Ирина жила в одном доме с коммунистом-евреем Ильей Альтманом, издававшим еврейскую ежедневную газету, которая позднее всё-таки была ликвидирована, а во время кампании против космополитов оклеветана как несуществовавшая или как продукт еврейского заговора.

33. *R. Sartorti*. Legende und Wirklichkeit der Sowjethelden // *Clemens Friedrich* (Hg.). Osteuropa im Umbruch: alte und neue Mythen. — Frankfurt a. M., 1994. S.133–144.

34. *I. Ehrenburg*. So habe ich gelebt. S.129.

35. Ibid. S.77.

36. О военных корреспондентах см.: *J. Brooks*. Pravda goes to War // *Richard Stites* (Ed.). Culture and Entertainment in Wartime Russia. — Indiana, 1995. P.9–27; *L. McReynolds*. Dateline Stalingrad. Newspaper Correspondents at the Front // Ibid. P.28–43.

37. *I. Ehrenburg*. So habe ich gelebt. S.93.

38. Ibid. S.152.

39. Неизвестная чёрная книга. — Иерусалим–Москва, 1993. Немецкое издание: *W. Grossmann, I. Ehrenburg* (Hg.). Das Schwarzbuch. Der Genozid an den sowjetischen Juden. — Frankfurt a. M., 1994. В немецком издании обновлена история «Чёрной книги», оно содержит также послесловие Ирины Эренбург (S.1099–2001); *Arno Lustiger*.

Rotbuch: Stalin und die Juden. Die tragische Geschichte des Juedischen Antifaschistischen Komitees und die sowjetischen Juden. — Berlin, 1998; Z. Gitelman (Ed.). Bitter Legacy. Confronting the Holocaust in the USSR. — Bloomington, 1997.

40. См.: M. Lilly. Ilya Ehrenbourg — un homme dans son siècle. — Paris, 1992. Эта биография состоялась при большом участии Ирины Эренбург, которой автор и посвятила книгу.

41. I. Ehrenburg. So habe ich gelebt. S.9.

42. Ibid. S.10.

43. Призыв женщин в качестве военных лётчиц и их участие во Второй мировой войне исследует Р. Пеннингтон: R. Pennington. Wings, Women, and War. Soviet Airwomen in World War II Combat. — Lawrence, Kansas, 2001; Idem. «Do Not Speak of the Services You Rendered»: Women Veterans of Aviation in the Soviet Union //The Journal of Slavic Military Studies. 1996. Vol.9. No.1. P.120–151.

44. R. Pennington. Wings, Women, and War. P.72 и след. Полк просуществовал с 27 мая 1942 г. до 9 мая 1945 г. и был расформирован 15 октября 1945 г. Командовала полком Евдокия Бершанская, районами боевых действий были Сталинград, Краснодар, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Минск, Варшава, Берлин и Западная Пруссия. Женщины совершили около 24000 вылетов, 24 лётчицы были представлены к званию Героя Советского Союза.

45. Похожие воспоминания были и у других лётчиц. Ср. описания в: A. Noggle. A Dance With Death. Soviet Airwomen in World War II. — Texas, 1994.

46. Сама Чечнева говорила, что колебалась между ненавистью и состраданием, причём ненависть должна была отступить, ведь надо любить людей, как это свойственно советским людям. (M.P. Tschetschnewa. Der Himmel bleibt unser. S.175).

47. Калинин в одной из своих официальных речей в июле 1945 г. объявил женщин на войне исключением, и они отныне не должны были распространяться о своих военных заслугах. Это привело к изъятию воспоминаний фронтовичек из общей культуры памяти.

48. R. Pennington. Wings, Women, and War. P.143–145. Многие бывшие боевые лётчицы страдали длительными расстройствами здоровья, такими как нарушение сна или головные боли.

49. M. Edele. «We need such a union like air!». Social Integration and Collective Action /Рукопись, май 2004 (<http://www.reec.edu/events/mrhw/edele.pdf>).

50. Маресьев в 1943 г. получил звание Героя Советского Союза и в 1944 г. был произведён в майоры. В Красной Армии он служил с 1937 г., а в 1944 г. вступил в ВКП(б). Он тоже был лётчиком и в 1956 г. стал ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны.

51. См. подробный библиографический список написанного Чечневой: K.J. Cottam. Soviet Airwomen in Combat in World War II. Manhattan. — Kansas, 1983. P.132–133. Из него следует, что Чечнева между 1961 и 1980 гг. опубликовала в журналах, сборниках или собственных книгах 13 текстов, посвящённых либо отдельным боевым подругам, либо всему полку ночных бомбардировщиков.

52. Чечнева М.Р. Героини. Октябрём рождённые /Под ред. А.В. Артюхиной. — Москва, 1967. С.306–318, см.С. 307.

53. A. Noggle. A Dance With Death. P.317–318.

54. Евгения Максимовна Руднева часто летала штурманом вместе с Чечневой.

55. A. Assmann. Wie wahr sind Erinnerungen? //Harald Welzer (Hg.). Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. — Hamburg, 2001. S.103–122.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ

Игорь НАРСКИЙ

Два момента провоцируют меня на критические замечания: Во-первых, мне кажется, что недостаточно чётко определены гендерные аспекты воспоминаний. Утверждается, что женские воспоминания были более травматичными, поскольку после войны женщины были обречены на долгое молчание о роли женщин на войне. Я думаю, что как официальная политика памяти, так и специфическая роль женщины в скверно организованной советской повседневности должны были повлиять на содержание и предпочтительные объекты женских воспоминаний. Я исхожу из того, что тыловые воспоминания женщин должны были гораздо в большей степени отражать проблемы повседневной частной жизни, чем мужские (как в случае И. Эренбург). Верно ли это наблюдение в отношении воспоминаний женщин на фронте?

Во-вторых, мне ясна логика отбора военных воспоминаний. Они действительно являются очень ясными альтернативными моделями памяти, прекрасно подходящими для постановки вопросов. Вместе с тем это — исключения, при работе с которыми следует учитывать «молчаливое большинство». Если этого не сделать со всей определённой, можно переоценить активность советских женщин в создании индивидуальных моделей памяти.

Дмитрий СЕДЫХ

Работа г-жи К. Шайде заслуживает самого пристального внимания, особенно сегодня, ввиду приближающегося юбилея, когда тема Великой Отечественной войны нередко становится предметом политических спекуляций. Её подход, позволяющий взглянуть на проблему, долгое время являвшуюся общественным достоянием, с позиции отдалённо взятого участника связанных с нею событий, как и рабочий аппарат, опирающийся на такие категории, как «память», «образ», «миф» относительно новы для отечественной исторической науки. Он даёт возможность обратить внимание на те сюжеты, которые ранее оставались в тени и, таким образом, расширить наше

представление об этой странице истории нашей страны. Насколько можно понять, на примере двух мемуарных произведений, автор продемонстрировал возможности данного метода. В то же самое время эти индивидуальные версии представляют своего рода полярные точки всего спектра доступных для реконструкции индивидуальных моделей памяти о Великой Отечественной войне. Не имея принципиальных возражений, со своей стороны я хотел бы высказать ряд вопросов и замечаний.

Я не совсем уловил контуры коллективной модели памяти о Великой Отечественной войне, — той самой «общей точки, где сходятся разные отношения к событиям Второй мировой войны в Советском Союзе», о которой говорит сама автор. С одной стороны, на эту роль, казалось бы, претендует официальная точка зрения советских органов на события 1941–1945 гг. Однако, с другой стороны, автор сама склонна рассматривать её как одну из версий мифа о войне.

Последний вариант, на мой взгляд, является более предпочтительным, так как по приводимым самой г-жой К. Шайде данным, даже в условиях авторитарных режимов индивидуальные и групповые модели памяти могут сосуществовать, взаимно корректировать и даже конкурировать с официальными. Поэтому в воссозданной автором картине памяти недостает ещё одного пласта — собственно «культурной памяти», содержащей наиболее значимые и наиболее устойчивые моменты прошлого, в том числе и по отношению к официальной версии. Например, затронутая здесь тема женщин в Великой Отечественной войне. Если судить о ней по произведениям искусства, то, несмотря на имевшие место попытки представить их участие в боевых действиях как своеобразное исключение, женщина являлась неотъемлемым элементом образа этой войны, в том числе и в произведениях сталинского периода.

Данный подход, возможно, позволил бы по иному взглянуть и на воспоминания М.П. Чечневой, которые, опять же по сложившемуся у меня впечатлению, выглядят рупором официальной модели памяти (за исключением «женской темы»), а сама Марина Павловна предстает перед нами почти что приспособленцем. Мне кажется, здесь скорее следует говорить о совпадении позиции Чечневой с официальной версией в процессе формирования мифа о Великой Отечественной войне, а не о послушном следовании её бытовавшим канонам.

М.П. Чечнева принадлежала к поколению, чья социализация происходила в период господства новых культурных ценностей советской эпохи. Более того, она достаточно рано вошла в число представителей лётной профессии — корпорации, которая находилась

под особым контролем и покровительством советского руководства, так как авиация имела не только важное военное, но и идеологическое значение. Она (авиация) являлась символом успехов и превосходства социалистического строя над капиталистическим миром. Поэтому Чечнева выступала сознательным и искренним носителем ценностей и принципов советской культуры, которые в её профессиональной среде вполне подтверждались реальными фактами. Это обеспечило устойчивость усвоения означенных ориентиров в сознании молодой лётчицы. Транслируемый ей «героический» образ Великой Отечественной войны не был результатом навязанной ей извне культурной модели. Он во многом был создан в результате лично пережитого боевого опыта и в условиях среды, где героизм и самопожертвование культивировался изначально, заслоняя собой разного рода бытовые неурядицы, которые в среде военных лётчиков были сведены к минимуму.

М.П. Чечнева была не только частью мифа, но и принимала активное участие в его создании и сохранении. Отсутствие в её воспоминаниях некоторых сюжетов можно объяснить элементарными требованиями цензуры, стремлением не приспособиться к официальной версии, а как раз противостоять ей, предпочитая умолчать о тех моментах, которые в отличии от общепринятого прочтения просто не были бы допущены к печати.

Мне также показалось, что хорошо показанные на фоне главных событий эпохи и в контексте обстоятельств личных судеб их авторов, представленные воспоминания в меньшей степени оказались вплетены в структуру многочисленных групповых моделей памяти об этих событиях. Возможно, для журналиста И.И. Эренбург, по-видимому, более склонной к индивидуализму и где-то сознательно дистанцировавшейся от них, вследствие пережитой личной трагедии, эта картина представляется справедливой. Её попытки самоидентификации часто наталкивались на те или иные трудности. Но насколько оправдывает себя представление о М.П. Чечневой только лишь как о выразительнице взглядов относительно узкой группы советских военных лётчиц, собранных в составе уникального подразделения — женского авиаполка ночных бомбардировщиков?

Советское общество периода Великой Отечественной войны представляло собой сложную систему взаимосвязанных и взаимоинтегрированных социальных и профессиональных групп, отличных друг от друга по степени и формам своего участия в военных событиях. Так, например, в нем можно выделить жителей оккупированных территорий и территорий, остававшихся в руках советской власти; участников боевых действий и тех, кто содействовал победе

в тылу и по другую сторону линии фронта; сражавшиеся с врагом с оружием в руках, в свою очередь, входили в состав партизанских отрядов, подпольных организаций и частей регулярной армии. Последних же можно стратифицировать с точки зрения их принадлежности к тому или иному роду войск, военным частям и подразделениям разного уровня (являвшихся, кстати, субъектами коллективных наград — орденов, знамен, почетных наименований), а также фронтов, в составе которых они прошли свой боевой путь. Данная система способна сыграть роль структурной основы при рассмотрении коллективной модели памяти о Великой Отечественной войне, по крайней мере, на начальном этапе её формирования. Она также может помочь реконструкции процесса создания индивидуальных моделей.

Ю л и я Х М Е Л Е В С К А Я

Я хотела бы поблагодарить Кармен Шайде за интересный материал, для которого характерен не совсем обычный для российских авторов ракурс — интерес к такому практически не использованному пласту источников как опубликованные мемуары, которым исследователи в течение долгих лет пренебрегали вследствие их предположительной тенденциозности и неинформативности. Признавая высокую познавательную ценность исповедуемого автором методического и методологического подхода, тем не менее, считаю нужным высказать некоторые критические соображения.

Несмотря на то, что во вводной части обращается внимание на сложность разграничения индивидуальной и коллективной, или культурной памяти, а сами они определяются, как «идеальные типы в целях научной обработки», из текста статьи складывается обратное впечатление. Возможно, более корректным было бы использование в заглавии статьи вместо «коллективных моделей памяти» термина «официальная культура памяти», поскольку в своём анализе автор фактически отождествляет «коллективную память» именно с официальной коммеморативностью, явно считая мемуары Ирины Эренбург более «индивидуализированными», «самостоятельными», альтернативными, в то время как воспоминания Марины Чечневой подаются как вписанные в официальный нарратив и выстроенные в соответствии со стереотипами «одобренной» памяти о войне. При заявленной же постановке темы выбранные для анализа источники не могут считаться репрезентативными и во многом несопоставимы в принципе.

Единственными параметрами выбора именно этих произведений предстают только тема войны, мемуарный жанр и гендерная

принадлежность их создателей. Бросается в глаза и хронологическая разница в публикации этих источников. При всей устойчивости канонов официальной мемориальной культуры, которые в целом сохраняются и в наши дни, политико-идеологические контексты середины 70-х и начала 90-х имеют существенные различия. Если в брежневские времена самой визуально фиксируемой чертой и критерием «признания» с известными оговорками и можно признать официальный, то на закате перестройки таким критерием стала альтернативность. Бывшие диссиденты заняли лидирующие позиции в политике, модным стало публично декларировать свою якобы скрытую прежде оппозицию и т. д. Таким образом, можно считать рассматриваемые источники репрезентациями разнотрупповых и разновременных коллективных памяти, каждая из которых выстраивалась по собственным канонам, опиралась на собственные мифы и удовлетворяла разные идентичности, подтверждением этому может служить сам факт литературной обработки и публикации записей, якобы для этого не предназначавшихся.

Что же касается индивидуального компонента, то предположения К. Шайде до определённой степени отражают собственные стереотипы исследователя — в субъективном плане, безусловно, Ирина Эренбург, образованная представительница интеллигенции, знакомая с западной культурой, с большей готовностью воспринимается К. Шайде в качестве носителя индивидуализма и критической рефлексии, в то время как Марина Чечнева, вышедшая из рабочей среды и ещё до фронта прошедшая через квазимилитаристские структуры, предстает главным образом как объект индоктринации. На мой взгляд, это не вполне корректно. Военный и социализационный опыт фронтовички-летчицы и гражданской журналистки, пусть даже и бывавшей на фронте, но все же пережившей войну в тылу, слишком различны в психологическом, ценностном, бытовом и коммуникативном плане, чтобы на основании его репрезентации в воспоминаниях делать выводы о том, что один информант служит популяризации официальных мифов, а другой их осмысляет критически.

Человеческая память дискретна и избирательна, а любые мемуары несут в себе оттенок беллетризации. Как правило, воспоминания создаются со значительным временным отрывом и отражают регрессивный образ войны. При всей искренности авторов, им свойственно под влиянием среды и приобретенного за эти годы личного и социального опыта перетолковывать собственное прошлое, мифологизировать его, акцентируя героические и положительные моменты и опуская двусмысленности, или же, напротив, относиться к этому прошлому излишне критически, примером чего и являются

рассматриваемые произведения. По-видимому, предложенный к обсуждению текст является частью более масштабного проекта, и дальнейшая работа позволит автору найти более убедительные и сопоставимые параллели для анализа.

Оксана НАГОРНАЯ

Как мы все знаем, субъективная реальность, а особенно соотношение коллективного и индивидуального в памяти — излюбленный предмет дискуссий нашего семинара. Материал выгодно отличается крепким методологическим обоснованием и последовательным его использованием, что позволило избежать «воздушности» конструкций и возможных обвинений в мифотворчестве. Распутывание сложных взаимосвязей переживаний личности, её опыта и влияния среды, на мой взгляд, удалось Вам вполне изящно. Не удержусь однако от некоторых уточнений и замечаний.

Хотелось бы обратить внимание, что первая точка референции советской истории всё-таки имеет двойной характер — Октябрьская революция и Гражданская война. Соответственно миф Великой Отечественной войны противостоит не скучной политике и пониманию коммунизма, а сравнимой по героизму и захватывающему характеру конструкции. Было бы любопытно сравнить эти два военных мифа. Опыт Щербакова и проекта «История фабрик и заводов» не был первым опытом конструирования истории-памяти. Стоит вспомнить Истпарт с его масштабным сбором воспоминаний по всей стране и изданием журнала «Пролетарская революция». Таким образом, данный опыт имеет более продолжительную и соответственно более насыщенную историю, которая, несомненно, сыграла свою роль в формировании политики памяти о Великой Отечественной.

При анализе воспоминаний уделяется значительное внимание оценке личности Сталина. В связи с этим не совсем удачным видится выбор учебника по истории, изданного до 1956 г., когда был поставлен под сомнение полководческий талант вождя. Хотя вполне вероятно, что более поздние варианты идентичны указанному.

Некую зыбкость аргументам, на мой взгляд, придаёт разница в характеристике источников: в случае Эренбург сравниваются дневник и воспоминания, в случае Чечневой — только воспоминания, изначально предполагавшиеся к публикации. И даты: 1976 г. — во втором случае, когда любые советские мифологемы не ставились под сомнение, в первом же — 1990-е гг., когда ниспровергались почти все идеалы. Остались бы мемуары Чечневой неизменными, если бы она их готовила к публикации в период после перестройки?

В целом, скорее всего — да, но возможно некоторые моменты: повседневность, ужасы войны — были бы акцентированы иначе.

Хотелось бы также уточнить некоторые моменты, которые, возможно, остались за рамками публикации. Тематизировала ли Эренбург свою учёбу в Париже, какое влияние пребывание за границей оказало на её восприятие сталинского СССР? Был ли военный опыт Чечневой связан с личными трагедиями (помимо потери подруг)? Очень важным мне кажется уточнение предположения о выступлениях Чечневой перед публикой как ветерана ВОВ. Это не могло не повлиять на структурирование её воспоминаний и не заставить «вытеснить» то, что публику не интересовало (возможно под эту категорию попадает именно негероичная картина войны).

Г е н н а д и й Б О Р Д Ю Г О В

В статье Кармен Шайде меня привлекла не только проблема соотношения и взаимовлияния коллективной и индивидуальной памяти, но и «управления» памятью. Автор права, что образ Победы и сценарий послевоенного мифа о ней создавался «идеологической надстройкой» задолго до мая 1945 г.

Мне уже приходилось писать о том, что чем ближе Отечественная война подходила к победному концу, тем очевиднее становились «ловушки» памяти, в которые невольно попадали интерпретаторы политических установок, сыгравших в военное время роль своеобразных скрепов общества (активизация патриотических чувств через национал-большевистскую ориентацию идеологии, снятие «табу» на многие формы хозяйствования и др.). К примеру, кампания об одностороннем влиянии и мировом значении русской культуры, выпячивание её самобытности, рассмотрение вне связи с культурами других стран, вело к неприемлемому для режима «славянофильству». Подчёркивание преемственности между старой, дореволюционной и советской Россией запутывало трактовку вопроса о прерывности и непрерывности её истории (одни историки требовали оправдать «колониально-захватническую политику» царизма, представить в качестве «реакционных» крестьянские восстания под руководством Разина, Пугачева, движение декабристов; оппоненты этой точки зрения объявлялись последователями «норманской теории»). И реанимация имперского сознания — вполне логичная реакция на подобные споры.

Идеологический маятник пошёл намного дальше здравого смысла. На приеме 24 мая 1945 г. через восхваление русского народа, определение его как «руководящей силы в великом Советском Союзе» Сталин давал знать о новой стратегии в этнополитической

сфере. До сих пор такая характеристика прилагалась лишь к партии и рабочему классу, но никак не этносу. Был выставлен «пробный камень» в предстоящей масштабной идейно-политической игре, облекаемой не только в форму славословий и выпадов, но и культуртрегерских инвектив. Его, по всей видимости, не отпускали тревоги, связанные с возможными неблагоприятными для режима новыми приливами чувства этнической самоценности нерусских народов, памяти о ней. Национальное никак не желало соединиться с интернациональным в его великорусско-советском обличи. Поэтому следовало, согласно сталинской диалектике, ликвидировать одну из двух противоречивых сторон, привести национально-культурную сферу к общему, великорусскому, знаменателю.

Победа объективно усилила потенциал консенсуса, а не конфликта в обществе. (Победа в войне и поныне, как показывают опросы, является почти единственным консенсусным для россиян вопросом). Но иной взгляд на ситуацию мог вызывать у поколения новейших «декабристов», запомнивших в заграничных походах 1944–45 гг. другую, нежели в советской стране, жизнь. Его надо было поставить на место. На любые раздумья по поводу причин и цены Победы спешно накладывался пластырь большевистской догматики. Тезисы о «непреоборимой силе социалистического строя», «организующей и руководящей идее», «вдохновляющей и решающей роли партии», «полководце всех времен и народов» стали неизменно сопровождать годовщины Победы. (См., к примеру, ориентировку, которая давалась в передовице «Правды» за 9 мая 1945 г.: *«Победа не пришла сама собой. Она одержана самоотверженностью, героизмом, воинским мастерством Красной Армии и всего советского народа. Её организовала наша непобедимая большевистская партия, партия Ленина-Сталина, к ней привел нас великий Сталин... Да здравствует наша великая сталинская Победа»*). Быстро стиралось в официальной пропаганде различие между двумя этапами войны, нигде нельзя было найти намеков на то, что в 1941 г. было много случаев предательства, бездарности, трусости. Запрет накладывался на темы коллаборационизма, этнических чисток и депортации. Даже естественное, с точки зрения победителей, стремление понять побежденного врага — уже не как людоеда-фашиста, изверга, тупого гунна, а как человека — подлежало жесткой цензуре.

«Управление» памятью, естественно, было невозможно без совершенствования механизма отслеживания настроений и мыслей людей. Под контроль попадали слухи, реплики, обмолвки — все то, что мы обычно называем «голосом народа». В этой же плоскости работали многочисленные партийные пропагандистские группы,

составляющие многостраничные перечни вопросов, которые задавались в самых разных аудиториях. Своеобразным каналом информации являлась перлюстрация частной переписки, которая осуществлялась отделами цензуры. Внимательно изучались анонимные письма, поступающие в редакции газет. Избирательно проводилось подслушивание элитных групп населения. Специфическим источником фиксации настроений являлись даже отчеты Наркомата торговли, составляемые на основе услышанных продавцами магазинов разговоров в очередях. Прибавим ко всему этому доносы, поступающие в большом количестве в самые различные инстанции. Всё это выстраивалось во всевозможные, часто дублирующие друг друга, цепочки прохождения информации на самый верх, где и определялась судьба «носителей крамолы».

Этих усилий оказалось достаточно для того, чтобы сформированная в годы войны общая воля фронта и тыла разбилась на тысячу мелких, индивидуальных и частных волей.

Наверное, коллеге Шайде и участникам обсуждения будет интересно узнать, что Дмитрий Андреев (Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) и я уже третий год занимаемся проектом, связанным с преломлением отечественного исторического опыта через категорию пространственного мировосприятия. Год назад мы выпустили книгу «Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина», а сейчас завершаем работу над топографической моделью «пространства памяти» и объяснением принципов его существования через такие понятия, как «субъект памяти», «культурный герой памяти», «проект памяти», «зона антипамяти» и другие. Как и коллега Шайде, мы останавливаемся на проблеме взаимоотношений текущей политической конъюнктуры и творимой этой конъюнктурой интерпретации памяти, нас интересует политический язык власти и общества, создаваемые культурные коды и их трансляция в повседневность и произведения искусства, символика юбилейных торжеств.

К. Шайде права, что центральное положение в культуре памяти о войне до сих пор занимает «День Победы». Так вот, если говорить коротко, то Дмитрий Андреев и я для себя примерно так связываем с конъюнктурой шесть юбилеев Победы:

- 1955 — «незамеченный» юбилей «сталинской» победы;
- 1965 — накануне несостоявшейся конвергенции;
- 1975 — экспансия пространства памяти в повседневность;
- 1985 — накануне сброса памяти;
- 1995 — пиар победы в эпоху победы пиара;
- 2005 — предчувствие последнего юбилея.

Евгений ВОЛКОВ

Работа К. Шайде вызвала у меня большой профессиональный интерес. Среди её достоинств необходимо отметить четкую и продуманную теоретическую схему, опирающуюся на современные методологии. Противопоставляя разные индивидуальные модели памяти людей советской эпохи, автор убедительно демонстрирует их особенности (в одном случае война — это жизненная трагедия, а в другом — жизненный взлет). На мой взгляд, методологические подходы к исследованию, предложенные К. Шайде, вполне обоснованы и работают на эффективный результат научного поиска.

Однако хотелось бы высказать и некоторые пожелания. Раскрывая особенности официальной памяти советского общества о войне, и говоря о Дне Победы, стоило бы, наверное, дать характеристику ритуалов, обязательных для подобного праздника (военный парад, выступление партийных руководителей, «фронтовые сто грамм» и т. д.). Особо следует обратить внимание на такую традицию Дня Победы как военный парад, начало которой было положено 24 июня 1945 г., когда состоялся первый парад Победы на Красной площади. Без подобного ритуала данный праздник для советских людей был практически невыносим. Далее, рассматривая военные памятники как культуру памяти о советско-германской войне, можно было остановиться на том, что изображали эти памятники, какие скульптурные образы войны доминировали в советском обществе.

И последнее замечание, мне кажется, работа могла стать более репрезентативной, если бы К. Шайде, рассматривая различные модели индивидуальной памяти на примере мемуарных сочинений, разделила бы их авторов по социальному статусу. Например, а) видные военные, партийные, государственные деятели; б) рядовые участники боевых действий; в) гражданские лица, пережившие войну. И на конкретных текстах показала особенности каждой группы мемуаров.

Любовь УЛЬЯНОВА

Когда научное исследование касается проблем, связанных с памятью, её коллективными и индивидуальными формами, возникает ощущение того, что поднимаемые вопросы справедливы и в отношении самих историков. Любой историк является носителем мифов, в том числе и мифов, связанных с той проблематикой, о которой он пишет.

В статье Кармен Шайде присутствует один из таких мифов, почерпнутых, вероятно, из источников, которые обрабатывались ею для определения параметров официальной культуры памяти о Великой отечественной войне в Советском Союзе: Советский Союз был

плохо мобилизован на случай войны. Между тем по военному потенциалу (количеству призванных в армию, числу танков, самолетов, артиллерии и др. техническим параметрам) СССР не только не уступал Германии, но и превосходил её (Мельтюхов. Идеологические документы мая–июня 1941 г. о событиях Второй мировой войны. //Другая война. 1939–1945. М. 1996; А. А. Печенкин. Была ли возможность наступать //Отечественная история. 1995. № 3). Кроме этого, в течение фактически двух десятилетий в советском обществе пропагандировался миф о войне, которая обязательно состоится в недалеком будущем. О том, что врагом в этой войне будет Германия, могли говорить такие факты, как высокая оценка Сталиным фильма «Александр Невский» Эйзенштейна и «Суворов» Пудовкина, носивших антигерманскую направленность (Н. Б. Попович. Возрождение самосознания русской нации //Наш современник. 1990. № 5). В этом плане советское общество было готово к войне. Поэтому, вероятно, первоначальные поражения СССР в начавшейся войне были связаны не с плохой мобилизацией общества и государства, а со стратегическими и тактическими просчетами командования и некоторыми др. субъективными моментами. Хотя вполне возможно, что утверждая это, я также воспроизвожу один из мифов, только другого свойства и иного времени происхождения.

В некоторой степени не совсем корректным выглядит перенос К. Шайде интерпретации И. Эренбург времени начала 1990-х гг. на её же оценку времени войны и послевоенного периода: «Ирина взглянула на пережитые ею негативные события как на часть большой системы подчинения и террора, и это заняло центральное место в биографической ретроспективе». Создаётся впечатление, что этот перенос произошел из-за совпадения мнения автора статьи с той характеристикой, которую даёт И. Эренбург.

В силу моей некомпетентности в вопросе об антисемитизме, хотелось бы уточнить: в качестве главных факторов для объединения еврейства выступают только религия и язык? Об их главенстве автор упоминает дважды: говоря о самой И. Эренбург, которая в еврействе «не видела для себя идентифицирующего импульса, поскольку сама она не была религиозна и не говорила на идиш или на иврите», и о девочке Фане, которую Эренбург удочерила.

Также неясным является такое понятие как «самоцензура», которую И. Эренбург «смогла преодолеть ... благодаря предоставленным Перестройкой новым коллективным возможностям преодоления прошлого в России». Имеется ли здесь в виду, что интерпретация Эренбург, которая в советское время была противоположной официальной, в конце 1980-х гг. стала совпадать с новой формирующейся

официальной культурой памяти, в которой немаловажное значение имел поиск и раскрытие «белых» пятен, неприглядных моментов войны?

Автор достаточно чётко разделяет и противопоставляет И. Эренбург и М. Чечневу. Хотелось бы узнать: возможно ли найти какие-то общие моменты в их воспоминаниях и интерпретациях событий, насколько допустимо сравнение мемуаров, писавшихся в разное время и в разных условиях (война, Хрущёвская «оттепель», брежневский «застой», перестройка)? Вопрос о сопоставимости проанализированных автором мемуаров возникает и в связи с тем, что воспоминания И. Эренбург представляют собой весьма индивидуализированную трактовку событий (по крайней мере, сама автор не приводит других примеров жизненного пути подобного Эренбург), в то время как воспоминания М. Чечневой К. Шайде чётко вписывает в коллективную память: «После окончания войны пережившие её регулярно встречались, делились воспоминаниями и новостями». На коллективность установок Чечневой указывает и сама К. Шайде: «она демонстрирует существование в Советском Союзе групповой памяти». Расширение источниковой базы позволит снять эти вопросы.

А л е к с а н д р Ф О К И Н

Проект К. Шайде спровоцировал меня на размышления о соотношении «коллективной памяти» с идеологией. В рамках обсуждаемого текста создаётся впечатление, что эти понятия не разграничиваются. Если это так, то у меня подобная позиция вызывает непонимание. На мой взгляд, идеология может использовать «коллективную память», но задача у неё совершенно иная. Идеология напрямую пытается конструировать нужные представления, «коллективная память» тоже может выполнять данные функции, но делает это неосознанно, основной же её функцией является сохранение и передача информации. Мне кажется, эти понятия необходимо разграничивать и по возможности не привлекать сочинения с выраженным идеологическим характером для исследования «коллективной памяти».

Выявление идеологического характера текста весьма проблематично, при этом нужно выносить за скобки «официальную память» как отдельный феномен, влияющий на «коллективную память» наряду с идеологией и индивидуальной памятью. Соблазн заклеить всё советское как «идеологическое» очень силен, но обосновать такую позицию, не впадая самому в идеологические рассуждения, очень трудно. Лишь очень ограниченный корпус текстов позволяет с уверенностью определить их как идеологические, для других необходимы четкие методы установления идеологического характера.

Применительно к воспоминаниям проблема такой оценки, мне представляется затруднительной.

Чтобы определить, насколько высказанные публично воспоминания субъекта соотносятся с его реальным опытом, необходимо найти другие сопоставимые источники, либо принадлежащие тому же автору, либо представителям близкой социализационной группы. В данном же проекте это было сделано только для И. Эренбург.

Если перейти собственно к источникам, на которые опирается данное исследование, то подбор примеров и их интерпретация представляется очень спорным для демонстрации моделей «коллективной» и «индивидуальной памяти». Первой проблемой, безусловно, является разница между авторами. Одна из них комбатант, другая нет, различен и их социальный статус, поэтому их военный опыт трудно сопоставить. Следующая проблема заключается в разнице общекультурного фона, в котором создавались и публиковались эти воспоминания, что также ставит под сомнение возможность корректного и адекватного сравнения двух документов. И, наконец, ещё одним проблемным моментом, влияющим на исторические исследования вообще, является субъективный фактор отбора и анализа фактов. Получается, что, выбирая из памяти индивидов нужные ему куски и формируя из них нужную ему систему «памяти», сам автор создает коллектив, в котором эта память функционирует.

А н д р е й Р О М А Н О В

Как мне кажется, в докладе есть места, которые нуждаются в дополнительном уточнении.

Например, говорится о записях в дневнике 22 октября 1943, в которых упоминаются впечатления Гроссмана и Эренбурга о поездке в Киев и фактах массового убийства евреев в городе в период оккупации. Возможно, в текст закралась какая-то неточность, поскольку советские войска освободили Киев 6 ноября 1943 г.

Помимо этого в уточнении нуждается абзац, где речь идёт о «теневых сторонах» войны, в числе которых перечисляются: страдание, разрушение, хозяйственный дефицит. С точки зрения российского, весьма богатого военного опыта, указанные стороны войны отнюдь не теневые, но самая настоящая её суть. Возможно, рассуждения о «теневых сторонах» просто неточность перевода, но если это не так, то хотелось бы поспорить с представлениями автора о «теневой стороне» войны. Страдание и разрушение — это суть любого дискурса о войне, в том числе и советского официального, более того при помощи отсылки к потерям войны в официальном дискурсе, да и в неофициальном тоже, часто объяснялись текущие хозяйствен-

ные неурядицы, по крайней мере, на протяжении 1-го десятилетия после войны. В более поздние времена официальный образ советской «мирной внешней политики», также обосновывал её необходимость стремлением избежать ужасов войны «во всём мире». Это характерно для суждений о войне и в советское время, и даже ещё в большей степени в постсоветское, которое оказалось связанным с травматическим «чеченским» опытом, представшим в условиях относительной свободы СМИ и особенно телевидения, и часто в прямом эфире, именно этими сторонами.

Комментируя заключительные замечания Кармен, хотелось бы обратить внимание на рассуждения о шаблонах, под которые якобы Чечнева «подгоняла» свой текст. У нас нет оснований утверждать, что от влияния шаблонов была свободна Эренбург. Советская интеллигенция, часто в противовес официальной культуре продуцировала собственные «критические» схемы восприятия действительности, ставшие особым феноменом «диссидентствующего» сознания этой группы населения, свойством которого была не только память «об уничтожении советских евреев». Случай с Чечневой проще для исследователя, поскольку официальная пропаганда оставила множество памятников официально конструируемой культуры памяти, «диссидентствующая» же культура памяти, похоже, ещё только начинает изучаться, да и с источниками в данном случае существуют большие проблемы.

Кармен ШАЙДЕ

Основным пунктом является вопрос, насколько тексты различного времени происхождения вообще можно сравнивать и пригодны ли они в принципе для анализа индивидуального и коллективного воспоминания.

Самым важным в обсуждаемом докладе для меня было развитие главной перспективы моей темы — соотношения индивидуального и коллективного воспоминания, причём я считаю, что методически здесь более всего годится подход, связанный с изучением «жизненного мира». Гендер — основополагающая категория моих исследований, но не в этой работе. Для того, чтобы исследовать взаимодействие официальной культуры памяти и индивидуального воспоминания, я избрала в качестве источника личные свидетельства, причём без чёткого определения терминов, поскольку «официальное» складывается из индивидуальных воспоминаний и наоборот. Таким образом, я отнюдь не пытаюсь работать с абсолютными категориями. Скорее, свою задачу я вижу в том, чтобы на нескольких примерах попытаться выявить наиболее существенное в личном

и индивидуальном, а также переплетение того и другого. Личные свидетельства индивидуальны и единичны, и вместе с тем они содержат типичные элементы, важные для определённых дискурсов. Исходя из этих предпосылок, по моему мнению, выбор двух столь различных источников вполне оправдан, поскольку я тематизирую различия в возникновении, жанре и адресатах (с точки зрения критики источников). Именно различия источников позволяют мне выявить различные аспекты процессов припоминания, — такие как различная социализация, опыт, структуры идентичности и поколения.

В качестве совета я охотно принимаю предложение основательнее подумать о моих собственных категориях и «мифах», а также попробовать сравнить культуру воспоминания о Первой и Второй мировых войнах.

Я понимаю, что мои тезисы должны быть перепроверены, уточнены и расширены на основе привлечения других свидетельств, что и планируется. При этом работа с опубликованными текстами представляет для меня наибольшую методическую сложность, так как они чаще всего возникали в условиях цензуры и тем не менее содержат информацию об опыте.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ДОКЛАДОВ

НАРСКИЙ Игорь Владимирович — доктор исторических наук, профессор Южно-Уральского государственного университета, руководитель Центра культурно-исторических исследований ЮУрГУ.

НАГОРНАЯ Оксана Сергеевна — кандидат исторических наук, доцент Южно-Уральского государственного университета, научный сотрудник Центра культурно-исторических исследований ЮУрГУ.

НИКОНОВА Ольга Юрьевна — кандидат исторических наук, доцент Южно-Уральского государственного университета, научный сотрудник Центра культурно-исторических исследований ЮУрГУ.

ФЁРСТЕР Штиг — доктор, профессор, руководитель отдела Новейшей истории Института истории Бернского университета (Швейцария).

ШАЙДЕ Кармен — доктор, ассистент отдела Восточно-Европейской истории исторического семинара Базельского университета, (Швейцария).

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ДИСКУССИИ

БАЙРАЗУ Дитрих — доктор, профессор, директор Института Восточно-Европейской истории и страноведения Тюбингенского университета, Германия.

БОГОМОЛОВ Алексей Иванович — выпускник ЧелГУ, аспирант Европейского Университета (Санкт-Петербург).

БОРДЮГОВ Геннадий Аркадьевич — к. и. н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель научных проектов АИРО.

ВОЛКОВ Евгений Владимирович — к. и. н., доцент ЮУрГУ (Челябинск).

КРАСНОВ Павел Владимирович — выпускник ЧелГУ, аспирант Московского государственного университета.

ЛЕБЕДЕВ Антон Юрьевич — выпускник ЧелГУ, преподаватель Юридической Академии (Челябинск).

ЧЕРЕПАНОВА Розалия Семеновна — к. и. н., старший преподаватель Южно-Уральского государственного университета (Челябинск).

САПРОНОВ Максим Викторович — к. и. н., доцент Южно-Уральского государственного университета (Челябинск).

СЕДЫХ Дмитрий Александрович — к. и. н., доцент ЧелГУ.

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Владимирович — к. и. н., доцент ЧелГУ.

УЛЬЯНОВА Любовь Владимировна — студентка V курса ЧелГУ.

РОМАНОВ Андрей Петрович — к. и. н., доцент ЧелГУ.

ФОКИН Александр Александрович — выпускник ЧелГУ, аспирант ЧелГУ.

ХАУМАНН Хайко — доктор, профессор Восточно-Европейской истории и Новой истории, руководитель Исторического семинара института Восточно-Европейской истории Базельского университета, Швейцария.

ХМЕЛЕВСКАЯ Юлия Юрьевна — к. и. н., доцент ЮУрГУ, научный сотрудник Центра культурно-исторических исследований ЮУрГУ (Челябинск).

ШУКШИНА Тамара Александровна — студентка IV курса ЧелГУ.

Издания АИРО в 2005 году

Никита Дедков. Консервативный либерализм Василия Маклакова. («АИРО — Первая монография»).

Ирина Чечель. За рубиконом – историография. Историческое знание в условиях перестройки. («АИРО — Первая монография»).

Юлия Лидерман. «Советское прошлое» в постсоветской массовой культуре. («АИРО — Первая монография»).

Дмитрий Люкин. Вторая русская смута: крестьянское измерение. («АИРО — Первая монография»).

Николай Сидоров. «Ложный закордон». Из истории спецопераций НКВД-НКГБ на Дальнем Востоке. («АИРО — Первая монография»).

Нина Сидоренко. Уральские консерваторы и либералы в Государственной Думе. 1906 – 1917 гг. («АИРО–Монография»).

Ярослав Леонтьев. «Скифы» русской революции. Левонародническая интеллигенция в 1917 – 1925 гг. («АИРО–Монография»).

Сергей Валянский. Теория информации и образование. Об условиях выживания России. («АИРО–Монография»).

1917: частные свидетельства о революции в письмах Луначарского и Мартова. («АИРО — Первая публикация», совместно с РУДН).

Б.Г. Тартаковский. Всё это было... Воспоминания об исчезающем поколении. («АИРО — Первая публикация»).

Б.Г. Тартаковский. Из дневников военных лет («АИРО — Первая публикация»).

Норман Неймарк. Пламя ненависти. Этнические чистки в Европе XX века. Перевод с англ. («АИРО — Первая публикация в России»).

Россия и война в XX столетии. Материалы межд. интернет-семинара. Сост. *Ю. Хмелевская.* Пред. *И. Нарского* (совм. Южно-Уральским гос. университетом).

Стивен Козн. Можно ли было реформировать советскую систему? Перевод с англ. («АИРО — Темы для XXI века». Вып. 16).

Александр Зиновьев, Герман Кант, Бернхард Кьяри, Борис Соколов, Андрей Турков. Великая война: трудный путь к правде. («АИРО — Темы для XXI века», Вып. 17., совм. с журналом «Свободная мысль–XXI»).

Истребительная война на Востоке. Преступления вермахта. Сб. докладов. («АИРО — Темы для XXI века. Вып. 18, совм. с Центром «Запад-Восток», Кассельский университет).

Дмитрий Андреев, Геннадий Бордюгов. Пространство памяти: Великая Победа и власть. («АИРО — Темы для XXI века. Вып. 19).

РОССИЯ И ВОЙНА В XX СТОЛЕТИИ. ВЗГЛЯД ИЗ УДАЛЯЮЩЕЙСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы международного интернет-семинара

Дизайн и вёрстка: *Сергей Щербина*

ISBN 5 - 88735 - 144 - 6



ИД № 01428 от 05.04.2000

Подписано в печать с оригинал-макета 18.04.2005
Формат 60×80 1/16. Тираж 500 экз. Усл. печ. л. 10.

Научно-исследовательский центр АИРО
E-mail: airo@online.ru

